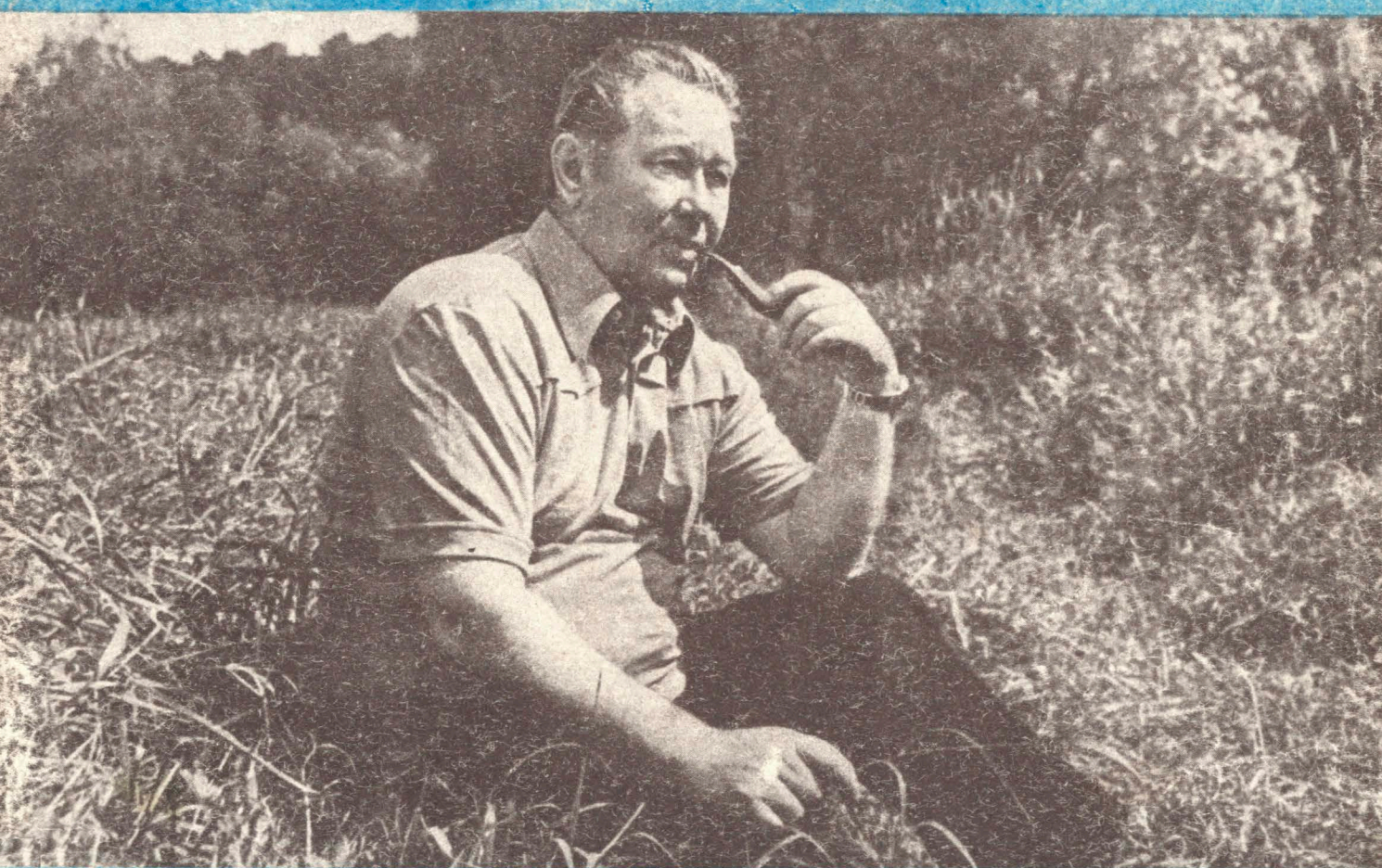


РОМАН ГАЗЕТА

№ 3 (841) · 1978



АНАТОЛИЙ ИВАНОВ
ВЕЧНЫЙ ЗОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В четвертом номере „Роман-газеты“

ЧИТАЙТЕ ПОВЕСТЬ

МИХАИЛА КОТОВА И ВЛАДИМИРА ЛЯСКОВСКОГО

„Курган“

В повести «Курган» рассказывается о героизме советских воинов в боях за Ростов-на-Дону осенью 1941 года, о подвиге артиллеристов батареи Сергея Оганяна на степном кургане Бербер-оба, вступивших в неравный поединок с фашистскими танками.

РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927 г.

№ 3 (841)
1978



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

АНАТОЛИЙ ИВАНОВ ВЕЧНЫЙ ЗОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

(Окончание)

Солнце било в широкие и высокие окна приемной первого секретаря Новосибирского обкома партии, пронизывало даже легкие матерчатые занавески, которыми до половины были задернуты окна, яркими желтыми полосами растекалось по паркетному полу от стены до стены. Иван Михайлович Субботин, войдя в приемную, невольно прижмурился.

— Сколько у вас тут сегодня света! — весело сказал он секретарше, немолодой опрятной женщине, сидящей за столом, уставленным телефонами.

У стола секретарши сидела еще одна женщина, врач областной поликлиники, которую Иван Михайлович хорошо знал; у ног ее стоял медицинский баульчик. Проходя к кабинету, Субботин поздоровался с ней, спросил:

— Заболел кто у нас?

— Нет. Я... прививки пришла делать.

— От вас не отвертись, — улыбнулся Субботин и открыл тяжелую дубовую дверь.

Первый секретарь, дымя папиромой, расхаживал по кабинету вдоль длинного стола для заседаний и, когда вошел Субботин, живо обернулся, как-то торопливо, немедленно раздавил папиросу в пепельнице и произнес:

— Добрый день, Иван Михайлович! Садись, — указал он на крайний стул у длинного стола.

Что-то в его поведении Субботина насторожило, но хорошего настроения не испортило. Он, ответив на приветствие, сел и, не привыкший первым задавать вопросы начальству, стал ждать. А тот, усевшись напротив, смотрел куда-то в сторону, нахмутив брови. Тут уж Субботин обеспокоился, подумав, что первый секретарь собирается за какое-то упущение выговаривать ему.

Окончание. Начало см. «Роман-газета» №№ 1—2, 1978 г.

© «Москва», 1976 г.

— В Шантару когда едешь? — спросил первый секретарь.

— Сегодня, во второй половине дня. Как договорились с тобой вчера... Пленум райкома у них через три дня, но я хочу по полям поездить, еще раз все посмотреть.

— Да, да... Значит, рожь у Назарова там выдержала засуху?

Обо всем этом, в том числе и о «ржи Назарова», они долго говорили вчера вечером. Субботину было теперь странно, что первый секретарь, никогда не имевший привычки возвращаться к тому, что раз уже было обговорено и решено, снова заводит об этом речь, и какое-то тревожное предчувствие кольнуло ему сердце.

— Более или менее выдержала.

— По всему видать, Шантарский район по хлебу будет снова первым.

— Кажется, так... Я полагаю, надо бы нам в конце концов представить к правительственным наградам группу работников района. Ты смотри, сколько они там строительного леса заготовили! Кружилин докладывал — до последнего бревна все сплавил по реке, сейчас пилят на доски, строят полным ходом жилье для рабочих завода. В общем, успешно они решают эту проблему, самую для них трудную.

— Да, попытаемся давай, — сказал первый секретарь. — И обязательно — Назарова. И погляди, кого там еще из его колхоза. Пусть райком кандидатуры представит.

— Неурожай все же. Как... чем мотивировать? — помолчал, спросил Субботин.

— Мотивировать... Слово-то какое! Так и обозначим в представлении: за получение высоких урожаев ржи в условиях засухи... А там, в Москве, пусть поправляют как хотят.

— Хорошо. Вот за это... за это народ нам спасибо скажет.

— Нам, — поморщился первый секретарь. — Мы должны нашему народу спасибо говорить.

Он поднялся, подошел к окну. Отодвинув в сторону занавеску, стал молча смотреть на улицу. Субботин остался сидеть. Его давно беспокоила неотвязная мысль: первый секретарь говорит одно, а думает, кажется, все время сегодня о чем-то другом. О чем же? Что это все значит?

— Не знаем мы... Я, по крайней мере, раньше не знал наш народ так, как за эти два трудных и страшных года его узнал, — проговорил он. — Ему не только спасибо — в ножки надо кланяться. Низко-низко... И поклонимся публично, перед всем миром, Иван Михайлович, придет час. Я это знаю... Назарову, Нечаеву, Кружилину — всем. А ты говоришь, чем мотивировать. Кстати, как там Нечаев?

— Как? Умирает медленно. Это всем ясно. И он сам знает.

— Да, удивительно, — тихо проговорил первый секретарь обкома. — А что унесет с собой в могилу? Ничего, кроме сознания честно исполненного человеческого долга перед людьми, перед землей, по которой ходил. А это немало, Иван Михайлович. И ему, я полагаю, легко умирать...

Странные слова, отметил Субботин, произнес секретарь обкома. А мысль, заложенная в них, не странная, не кощунственная. Вот как бывает.

— Да, да... Ну ладно, Иван Михайлович... — говоря это, первый секретарь обкома медленно отвернулся от окна, так же медленно двинулся к своему рабочему столу. Но, подойдя к нему, не сел, а лишь взял со стола какое-то письмо с приколотым к нему конвертом, с трудом поднял тяжелую голову: — Иван Михайлович, я должен... обязан, к сожалению, сообщить это тебе. Ты мужественный человек... Твой сын, Павел...

Первый секретарь обкома это говорил, а все вещи, находящиеся в кабинете, — мебель, портреты на стене, занавески на окнах и сами окна — потускнели вдруг, качнулись и поплыли, поплыли... И сам первый секретарь обкома как-то странно наклонился и, не падая окончательно, метнулся к Субботину. В уши ударило еще раз, глухо и больно:

— Иван Михайлович! Иван...

...Он очнулся на диване. Рядом на стуле, взятом от стола для заседаний, сидела та самая женщина-врач, которую Иван Михайлович видел в приемной; теперь она была в белом халате. Первый секретарь обкома стоял возле нее.

Очнулся Иван Михайлович от того, что услышал запах какого-то лекарства. В голове тупо стучало. И в груди, там, где сердце, стояла тупая, тяжкая боль. Он приподнялся, спустил ноги на пол.

— Пашка, средний сын... Последний, — с трудом проговорил он. — Сперва крайних выбило, теперь в серединку... Теперь я совсем один.

— Теряем сыновей, Иван. Теряем дочерей... — проговорил первый секретарь обкома, присаживаясь рядом на диван. — Не один ты теряешь. Всем тяжело...

— Да, это так, — Субботин, судорожно вздохнув, поглядел мутными глазами на врача, на первого секретаря. — Спасибо вам...

— Поезжай домой, Иван Михайлович. Отдохни, успокойся, если можешь... Вот Зинаида Даниловна побудет с тобой.

— Нет... Я пойду к себе в кабинет. Что же... надо работать. Надо работать.

— В Шантару ехать я тебе запрещаю. На пленум кого-нибудь другого пошлем.

— Нет, я сам поеду, — упрямо мотнул Субботин белой головой.

...Когда Иван Михайлович снова шел через приемную, солнечные полосы, бившие из окон и растекавшиеся по паркетному полу, были черными и он спотыкался о них.

Было второе августа, день стоял безветренный, теплый, небо чистое и высокое.

На берегу Громотухи оживленно, как на воскресном базаре, галдели и кричали люди, на разные голоса звенели и хрипели пилы, скрипела прибрежная галька, по которой на лошадях таскали из воды мокрые, тяжелые бревна. Их распиливали тут же, вручную, на доски, на брусья, соорудив для этого высокие козлы, складывали в штабеля, грузили на автомашины и подводы, увозили.

На не расчлененных еще плотях купались ребятишки, с хохотом и визгом прыгали в воду, подымая тучи брызг. Старухи и молодые женщины подбирали древесную кору и щепки, всякие обрубки и обпилки, связывали в вязанки или нагружали ими ручные тележки и увозили к себе домой — на топливо.

Над рекой по всему берегу стоял густой и холодный запах коры и сосновых опилок.

— Хорошо, а! — воскликнул Субботин, оглядывая всю эту трудовую суматоху. — Весело.

— Оно весело, пока с тучки не навесило. — сказал Филат Филатыч. Он стоял рядом, простоволосый, прижимая к груди замызганный старинный картуз.

Кружилин только что познакомил Субботина с ним, сказав:

— Вот он, Филат Филатыч, и приплавил нам лес с верховьев Громотухи.

— Спасибо, Филат Филатыч, — повернулся к нему Субботин, с любопытством оглядел. — Я знаю, что ты великого уменья в этом деле.

— Откуда ж, барин? — сорвав свой головной убор, спросил, посверкивая узкими глазами, неугомонный старик.

— Это какой же я тебе барин?! — изумился Субботин.

— А кто ж ты таков? Из самого Николаевска, слышал. Глядишь вон как строго. Ух! Откуда я тебе, грешный, известен-то?

— И что грешен ты — знаю! Жену ты сильно обижал. Так?

— Ну... было, — растерялся старик. — Да ты кто ж таков?

— Барин я, ты ж определил... А жена у тебя славная была. А ты — дурачок-лесовичок.

С этими словами Субботин отвернулся и, наморщившись, сунул ладонь под полувоенный френч, стал растирать защемившее опять сердце. А старик так и остался стоять, прижав к груди свой картуз.

Пощипав, сердце отпустило, Иван Михайлович снова улыбнулся и произнес это «весело», на которое откликнулся Филат Филатыч, все еще с удивлением оглядывая Субботина.

— Откуда ж сегодня дождю быть? — спросил Филата Филатыча Кружилин. — На небе ни тучки.

— А будет. Седни Ильин день. А на Илью до обеда лето, говорится, а после обеда осень.

— Да вон же жарынь стоит.

— А поглядим, — усмехнулся опять старик. — Не дождик, так гром постучит, это уж обязательно. Илья сатане места не да-аст!

— Ну-ну, интересно, — повернулся к старику Субботин. — Почему ж не даст?

— Осерчал.

— За что же?

— Так дело как у них было? — Старик наконец картуз свой бросил на голову, полез за кисетом. — Сатане шубу надо было сильно к спеху сшить. Холода, значит, должны скоро подступить, а он без шубы еще. Сел он под сосну с утра, принялся за дело, да не поспел к вечеру. А ночью, известно, темно. Ну, в тую ночь Илья-то и гремел: оповещал, что лето кончается. Как молния блеснет — сатана и продернет иголку с ниткой в шубу. А там опять темно, ждать опять надо, ни иголки, ни шва не видать. Ну, терпел-терпел, да заворчал: «Что ж ты, Илюха, не часто светишь, обессилел, что ли, козел облезлый?» Илья-то на это и осерчал. Ка-ак пустил в черта громовую стрелу! Да он черт — на то и черт: увернулся. Сосну расщепило, а черт убег со своей шубой. Ну, с тех пор и гоняется Илья за ним, не дает нигде присесть. Где сатана лишь притулится, а тот стрелу туда пускает...

— Интересная сказка, — проговорил Субботин. — Я даже такое где-то и слышал...

— Вам все сказочки, эх! — обиделся старик. — Я лесовик, умом не велик, да знаю — испокон веков зажин рожни у нас тут на Семенов день делали. Это по-нынешнему третье августа, завтрева. А вы только, слышал, послезавтрева этот... как ваше собрание там называется... послезавтрева собираетесь речи говорить — как, мол, нам хлеб молотить. А что речи? Надоть жатву начинать...

— А мы, Филат Филатыч, уже целую неделю рожь убираем, — сказал Кружилин.

— Н-но? — похлопал глазами старик.

— А что нам этого Семенова дня ждать? Как созрела, так и начали.

— А это правильно! Чего ждать? — тут же согласился старик. И все-таки ввернул свое: — По нынешнему урожаю — конечно. А так — на Семенов день надо, как люди всегда делали.

Шагая от реки, Субботин опять морщился, держал руку на сердце. Кружилин давно заметил это, спросил:

— Иван Михайлович, тебе... нехорошо?

— Нет-нет. Сейчас вот перекушу чего — и по полям поедем. К Назарову напоследок хочу заглянуть. Кстати, первый секретарь обкома сказал, чтобы его и других, кого считаешь нужным, к наградам представить.

Субботин говорил, тяжело дыша, на лбу его проступили капли пота.

— Пойдем ко мне пообедаем.

— Перед отъездом еще на завод заглянем... А занятый этот Филат Филатыч. Ишь как он — «барин»! Ты давно его знаешь?

— С гражданской. Даже еще раньше.

— Так ты не забудешь — к наградам?

— Разве такое забывают?

— А после пленума, Поликарп, мы с тобой кое-куда ходим. К этой самой Акулине Тарасовне, бывшей жене Филат Филатыча. Передавал ты ей от меня поклон?

— А как же! Разыскал я ее...

— Спасибо! Вот и еще раз хочу зайти к ней, попрощаться... — И видя, что Кружилин что-то собирается сказать, торопливо добавил: — Ну ладно-ладно, иди по своим делам, а я к себе. Не провожай дальше! Через час-полтора я приду в райком.

Повернул в переулок и пошел. Кружилин, заподозрив неладное, шел за ним в отдалении. Но Субботин шагал твердо, ноги ставил крепко, худая спина его покачивалась в такт шагам. Не обернувшись ни разу, он скрылся за дверью крохотной, в четыре комнатки, шантарской гостиницы, которая именовалась издавна «Заезжий дом колхозника».

Не пришлось больше Ивану Михайловичу Субботину поехать по полям, сходить к Акулине Тарасовне Козодоевой, напрасно ждали его Нечаев и Савчук на заводе, не увидел он больше Назарова. Последний раз дышал он в этот день чистым речным воздухом, напоенным запахом солнца и свежей сосны, последний раз глядел на сверкающую воду, на купающихся ребятишек, на чистое голубое небо.

Он еще нашел в себе силы твердо пройти по узкому коридорчику заезжего дома. Но, зайдя в свою комнатку, где всегда останавливался при наездах в Шантару, обессиленно прислонился к стене. Постояв, он кое-как доплелся до тумбочки, налил в стакан воды, накапал туда валерьянки. Выпив это, упал на кровать и стал жадно заглатывать воздух. Пот со лба и щек скатывался крупными горошинами.

В груди была сплошная боль, которая застлала сознание.

Через некоторое время его чуть отпустило. Он, видя, как шатаются, колеблются стены, поднялся, шагнул к двери, толкнул ее и, держась за косяк, чтобы не вывалиться в коридорчик, позвал:

— Маруся, милая...

Маруся — тощая, угрюмая женщина в мужском пиджаке, была и директором, и сторожем, и уборщицей этой гостиницы. Она тотчас выглянула из своей каморки, где у нее хранились веники, ведра, тряпки для мытья полов и где она жила сама.

— Будь доброй, Маруся... Тут у вас живет такая старушка, Козодоева... Ты, может, знаешь?

— Ну? Это бабушка Акулина, что ли?

— Она мне очень нужна, очень... Позови ее, пожалуйста, если не трудно. Сходи, Маруся...

Женщина немного удивилась такой просьбе секретаря обкома, но, не страдая любопытством, лишь сказала:

— Счас.

— А после, как позовешь ее, в райком зайди. Кружилину скажи, чтоб пришел.

— Ладно.

Никто не знал, что Иван Михайлович, бывая в Шантаре, выбирал иногда вечерок и захаживал к одинокой старухе, она тогда ставила самовар, они сидели, пили чай, вспоминали далекое прошлое и рассказывали друг другу о своей жизни. Иван Михайлович предложил ей однажды какую-то помощь, но та наотрез отказалась: «Еще чего! Не позорь меня, ради бога. Избушка у меня есть, с огорошка то да се на базар таскаю... Да много ли мне теперь надо? Не-ет, Ванюшка... А так — заходи по-стариковски, это мне в радость...» А теперь вот дойти до нее не мог, позвал к себе.

Он ждал ее, лежа на спине, глядя в потолок, ощущая, как при каждом ударе сердца в нем что-то больно обрывается, навсегда. И, когда она вошла — легкая, сухонькая, он повернул к ней голову, улыбнулся:

— Здравствуй... здравствуй... Вот... позвал тебя попрощаться.

— Господь с тобой! Захворал, что ли?

— Да нет, умираю просто.

— Будет молоть-то! — проговорила старуха, присаживаясь на стул, но, поняв, что он сказал это не шутки ради, тут же поднялась, тревожно: — Фершала надо ж! Ты чего?!

— Не надо... Сядь-ка, — попросил он тихонько. — Все, никакой врач, ничто уже не поможет. Отбегал, отмаялся я на земле родимой... С тобой вот напоследок хочу побыть. Все.

И старая Акулина Тарасовна, глядя на его иссохшее, еще живое, но уже обострившееся лицо, с которого отхлынула уже кровь, поняла, что это действительно все, что не надо бежать ни за какой помощью, не надо суетиться. В прежние времена в такие минуты звали священника, теперь попов нет, да он и безбожник, он позвал ее, потому что легче, видно, ему умирать при ней.

— Ванюшка! — выдохнула только она шепотом и, невесомая, опустилась на стул возле кровати, беззвучно заплакала.

— Это ты зря. Зачем? Теперь — плачь не плачь...

В комнатухе некоторое время постояла тишина, нарушаемая лишь негромким и частым дыханием Субботина.

Потом дыхание его успокоилось, он повернул голову и стал смотреть, не мигая, на Акулину Тарасовну. На бескровном лице его проступило что-то живое, в глазах засветилась теплота. Она в своей синей широкой юбке и пестренькой ситцевой кофточке сидела перед ним, сложив на коленях маленькие сухие руки. Он дотронулся до них потной ладонью, погладил.

— Что ты? — чуть смутилась она.

— А ты знаешь, я эти руки твои помню. Как ты прикасалась ими, когда перевязывала меня... там, в тайге. Сколько времени-то прошло с тех пор!

— Сколько? Четыре десятка годков уж.

— Четыре... Не наткнись ты на меня там — не прожил бы я их. Спасла ты меня.

— Я ли тебя, ты ли меня... — сказала старая женщина. — Тебя медведь изодрал, а меня лихоманка била. Да от голода свет уж мерк в глазах.

— Да, я помню того медведя... Шатун был, не приметил я его издали, наткнулся. Он и пошел на меня. Я ведь не помню, как я его... Откуда силы взялись!

Он еще помолчал, все глядя на Акулину Тарасовну. И, не отводя глаз, проговорил вдруг:

— А я, Акулина, когда нам пришлось расстаться тогда в тайге... все думал потом — однако ребенок у тебя будет?

— От... вспомнил опять, — воскликнула она и торопливо отмахнулась рукой от его слов, тут же опустила глаза, затем принялась без нужды разглаживать юбку на коленях. — Это... не промеж нас и было.

— Как же не промеж...

Это случилось промеж них по самой ранней весне, когда и снег еще не набряк влагой, лишь немного осел меж деревьев, обнажая корявые стволы, которые оттаивали под темными лучами солнца и к полдню обычно начинали испускать живой запах. Случилось естественно

и просто, как просто наступает утро в определенный природой срок.

Субботин давно окреп. Акулина выходила его. Выздоровев, он расширил земляную нору, сделал что-то наподобие землянки с глиняной печкой и с дверью, сплетенной из еловых веток, даже с оконцем — вставил в дверь нетолстую ледяную пластину. Света она почти не пропускала — так, мерцало днем тусклое пятно, все равно надо было сидеть днем с жировым фитильком.

Проверив однажды проволочные петли на зайцев, перемерзнув в тайге, они растопили в своей норе печку, пожевали надовешей им зайчатины, Акулина легла в свой угол, на подстилку из еловых веток, укрылась рваной тужуркой.

— Продрогла, что ль? — спросил он, хотя это было понятно и без того.

— А ты никак погреть меня хочешь! — блеснула она в полумраке глазами из-под тужурки.

— А что ж... Ты же меня грела.

Да, когда он валялся беспомощный и его колотило в ознобе, она, и сама-то не совсем выздоровевшая, грела его как могла своим телом, плотно прижимала к себе то спиной, то животом, совала его холодные ладони к себе под мышки, со всех сторон подтыкала под него тужурку — единственное, чем они вдвоем могли укрыться. Когда потихоньку сознание его начало проясняться и он пробовал иногда как-то чуть отодвинуться от ее теплой груди или плеча, она говорила шепотом, будто кто их мог услышать:

— Не балуй. Ты не мужик, а я не баба сейчас. Выздоровеешь, бог даст, тогда стыдиться будем.

Окрепнув, они оба не особенно и стыдились друг друга, но спали в разных углах, и ни она, ни он даже и одной попытке не сделали в нарушение этого принципа — «ты не мужик, а я не баба». Ни одной до того вечера. Но мертвым — мертвое, а живым — все-таки живое. Пришла минута — и задал Иван ей этот ненужный вопрос, который она мгновенно поняла. И, еще раз блеснув из-под рваной, прожженной у таежных костров тужурки, просто сказала:

— Ладно, иди уж...

И потом она, забывшись в извечной бабьей радости, лишь шептала иступленно в его бордатовое, пахнущее смоляным дымом лицо: «Ванюшка, сердешный...»

— Как же не промеж нас? — еще раз сказал Иван Михайлович, такой же немощный сейчас, как в те дни, когда поломал его медведь-шатун, но с той разницей, что никакое тепло, никакой уход и забота теперь его не поднимут больше на ноги.

— Не было, Ванюшка, ребеночка...

— А я после, как убежал от кержаков, на третью, что ли, ночь, я пришел в ту канаву, где тебя оставил. И на четвертую, и на пятую приходил. Искал все тебя...

— Да я, Ванюшка, другой же ночью ушла. Я думала... я ж рассказывала все тебе не раз.

— А потом я тебя все ждал в Новониколаевске. Придешь ты, думаю, поженимся мы. Да не дождался.

— Оно вишь как вышло-то, Ваня, — произнесла старуха виноватым голосом. — Филат-то Филатыч, говорила я, меня и поженит. Не дошла.

Он кивнул. Они обо всем этом говорили много и подолгу раньше, и теперь Иван Михайлович в последний раз вспоминал из их прошлого самое сокровенное, что всегда, видимо, жило в его душе и что сейчас облегчало его последние минуты.

— Перед смертью, Акуля, я тебе хочу свое спасибо сказать. За все. За доброту твою. За руги твои... За все, что промеж нас было... За этим и позвал.

Старуха беспомощно и тоскливо, как щенок, заскулила, повалилась вперед, на кровать, толкнулась лицом в грудь Субботина, худенькая спина ее, обтянутая пестрой кофточкой, мелко затряслась...

Так и застал их Кружилин, вбежавший торопливо в комнату.

— Что?! Иван Михайлович?! — вскричал он тревожно.

Субботин только рукой махнул, а старуха, приподняв мокрое лицо, попросила:

— Ты не тревожь его. Отходит он.

— Что-о?! — Кружилин сделался белым как мел. — Вы... с ума сошли!

Слова эти означали непонятно что. Может быть, несогласие с тем, что сказала эта старуха, возмущение, что возле Субботина нет врача. Он метнулся обратно к двери, закричал без памяти:

— Кто там? Мария? В больницу, скорее! Врачей! Пусть немедленно сюда бегут все, кто там есть! Кто там есть...

По коридору послышался топот, а Кружилин качнулся к Субботину.

— Ну что, что?!

— Ни одного врача не надо, а ты — всех, — проговорил Субботин негромко. — А мы вот с Акулиной Тарасовой тут... вспоминаем. После пленума я к ней хотел... да вот саму ее попросил сюда... Ты уж пригляди за ней, Поликарп.

Кружилин схватил Субботина за сухую руку, начал бессмысленно повторять:

— Иван Михайлович... Иван Михайлович?

— Ну что — Иван Михайлович? Возьми себя в руки, Поликарп! — Лоб его был мокрый, Акулина Тарасовна мягким платком обтерла

его. — И послушай, что я скажу... Ты сядь, чего стоишь?

— Я слушаю, слушаю, — покорно произнес Кружилин, взял стул. Беря его, глянул в окно: где там врачи?! Хотя и понимал, что врачу еще поспеть не время.

— Умираю я спокойно, Поликарп, — проговорил Субботин. — Все что мог, на что я был способен — я сделал на земле. Сыновей я вырастил неплохих. Жаль немного, что не от нее вот, — показал он глазами на Акулину Тарасовну. — Но я свою жену и любил и уважал... Я тебе о ней рассказывал. Ты понимаешь?

— Да, да, — сказал Кружилин, чтобы успокоить Субботина.

Неожиданно донесся издали приглушенный раскат грома, Субботин расслышал его, шевельнул в сторону окошка головой.

— Это что, а? Гроза?

— Далеко это, за Звенигорой где-то.

— Значит, там сатана... со своей шубой-то присел, — трудно проговорил Субботин. — Филат-то Филатыч прав все же оказался насчет дождя-то сегодня?

— Дождя пока нет. Может, и не будет.

При упоминании о Филате Филатыче в глазах старухи, обтиравшей лоб и бескровные щеки Субботина, мелькнул вопрос.

— Сегодня я случайно увидел его. Интересный старичок... Интересный, — сказал он ей.

Затем прикрыл глаза и, хрипло дыша, лежал так, пока не вбежала, задыхаясь, врач. Она на ходу кивком головы попросила отойти от кровати секретаря райкома и старую Акулину, схватила руку Субботина, нащупала пульс, одновременно пальцами раздвинула веки, поглядела в глаза. Потом торопливо раскрыла свою сумку, выхватила коробку со шприцами.

— Руку ему обнажите. Живо!

Пока Кружилин расстегивал рукав, врач набирала в шприц лекарство. Сделав укол, она устало, еле слышно, вздохнула.

— Ну, что, что?! — спросил Кружилин, как несколько минут назад у самого Субботина, хотя все было ясно и без пояснений. — А где главный врач?

— Он на заводе.

— Что, Нечаеву плохо?

— Приступ начался прямо в цехе. Мы вам в райком звонили...

— Спасибо, доктор, — открыл в это время глаза Субботин. И вдруг усмехнулся — последней в своей жизни улыбкой, тихой и слабенькой. — Что бы мы в жизни делали без докторов?

Врач на это ничего не ответила. Она опять держала его за кисть руки, считала пульс.

— Я тебе что-то хотел сказать, Поликарп? — спросил Субботин. — Да, вот что... Мы вот с ней вспоминали, — он показал глазами на Акулину Тарасовну, стоявшую у стенки. — Тогда, давно... медведь-шатун меня в тайге ломал — страшная, жуткая сила! И вот сейчас мне кажется, что всю жизнь... всю жизнь меня какая-то подобная сила крутила, одолеть старалась. А я не давался. Я пытался сам ее одолеть. Иногда это мне удавалось, как в тайге тогда... Иногда нет. Но я изо всех сил, какие были, сопротивлялся... В этом, наверное, и смысл жизни человеческой, а? Как думаешь?

— Да, в этом. В чем же еще-то, — сказал Кружилин.

— Потому нам и народ верит, Поликарп. Он верит, что мы, коммунисты, всегда... Что мы...

На полуслове он судорожно вздохнул, затем, глядя в потолок, начал дышать часто-часто. Но постепенно дыхание его успокаивалось, становилось все ровнее и тише, тише, пока не прекратилось совсем. Врач, державшая его руку, медленно стала класть ее ему на грудь. И во всем этом не было ничего страшного, Кружилин еще какие-то секунды будто не понимал, что это все, что это конец. А потом вскричал будто не своим голосом:

— Иван Михайлович!

Старая Акулина Тарасовна легонько отодвинула его в сторону, мягко попросила:

— Не кричи. Грех.

Наклонилась над умершим, прикоснулась старческими губами к его губам, сухим и теплым еще, и закрыла ему глаза.

Не видя дороги, с трудом соображая, что надо немедленно сообщить о кончине Ивана Михайловича Субботина в обком, Кружилин вышел на улицу. Грозы никакой не было, небо сияло голубой чистотой, лишь над Звенигорой качались небольшие тучки, не то наплывавая оттуда, не то уходя за острые каменные утесы...

Здесь, на улице, к нему подошла женщина-врач, сказала опять:

— Приступ у Нечаева начался прямо в цехе. Мы еще успели донести его до заводского медпункта.

— Что, и Нечаев?!

— Да, Федор Федорович двадцать минут назад скончался.

Пленум райкома партии, назначенный на четвертое августа, не состоялся. Не состоялся он и в последующие дни, заполненные похоронами директора завода, отправкой в Новосибирск тела Ивана Михайловича Субботина... Все это невеселое дело происходило как бы под

салют артиллерийской канонады в Москве, первый салют, которым страна праздновала свою победу над гитлеровскими войсками под старинными русскими городами Орлом и Белгородом.

Лишь десятого августа руководители и активисты Шантарского района собрались в Доме культуры, в не очень высоком и не очень просторном зале, вымытом и вычищенном. И Кружилин, за эти дни похудевший и постаревший, предложил почтить минутой молчания память умерших товарищей.

Минута эта длилась долго. Затем, когда люди бесшумно сели, он сказал:

— Коммунисты умирают, а живым — продолжать их дело. Разрешите начать работу пленума районного комитета партии...

Конец лета, осень и зима 1943 года были для Поликарпа Матвеевича Кружилина самым тяжелым временем за всю войну. Первые военные месяцы, прибытие и размещение эвакуированных, тот невообразимый кошмар с восстановлением завода — все это казалось пустяками в сравнении с тем, что надвигалось на район, уже, собственно, давно надвинулось. Имя этому было — голод.

В районе уже случались несколько десятков голодных смертей. А нынешней весной появилась к тому же таинственная болезнь. Сначала у людей принималось чуть побаливать горло, поднималась температура. Затем глотка, язык, вся полость рта покрывались желтым налетом, боли возрастали, в глотке появлялись нарывы и язвы, больные начинали задыхаться и в конце концов теряли сознание. Многие, так и не придя в себя, умирали в судорогах.

— Заболевание начинается как типичная ангина, — сообщил на бюро райкома, где слушался вопрос «О состоянии медицинского обслуживания населения», главный врач Шантарской больницы Самсонов. Скрюченный временем старик, из эвакуированных, он был хорошим специалистом. — Но потом происходит нечто для меня непонятное... То есть я подозреваю, что нарывы в горле, вскрываясь, выделяют сильные токсические вещества, которые, видимо, и поражают весь организм. Происходит сепсис, то есть общее инфекционное заболевание организма, которое и приводит к летальному исходу, то есть к смерти... Но причины, причины возникновения этого заболевания мне непонятны пока. Однако...

— Что? — спросил Кружилин, когда тот неуверенно замолчал. — Говорите.

— Мои наблюдения случайны и научной ценности, скорее всего, не представляют. Но я счел долгом сообщить о них в облздрав. Мало ли, знаете... Так вот, посещая больных,

я видел у некоторых белый хлеб. Настоящий белый пшеничный хлеб. Мы по карточкам выдаем белый хлеб?

— У нас и черного нет, — сказал угрюмо Кружилин. — Карточки почти не отовариваются.

— Вот видите... Я выяснил — все умершие от этой болезни употребляли этот хлеб. А откуда он? Люди нынче весной собирали по полям случайно оставшиеся прошлогодние колосья...

— Да, мы разрешили это нынешней весной, — сказал Кружилин.

— И мой высыхающий мозг начала сверлить мысль — не набирает ли зерно, перезимовавшее на земле под снегом, каких-то токсинов, не становится ли оно ядовитым?

Старый доктор был прав, зерно, перезимовавшее под снегом, становилось ядовитым, оно и вызывало то заболевание, которое было названо септической ангиной. Когда это стало известным, по радио и в районной газете немедленно было объявлено о зловещих свойствах зерна, вышелушенного из таких колосьев, и о том, что такое зерно меняется на доброкачественное килограмм на килограмм. На дверях всех учреждений, на всех заборах были расклеены соответствующие листовки и плакаты, и уже в конце июля новых заболеваний не наблюдалось. Зато по всему почти району начал падать скот, разразилась жестокая эпидемия ящура. Проклятый вирус не щадил ни коров, ни овец, ни коз, и каждый вечер на выгоне за селом, куда шантарские бабы и ребятишки выходили встречать возвращающееся стадо, возникал женский плач. Это означало, что их коровы или козы, утром еще здоровые, теперь шли, пуская до земли клейкую слюну, что семья скоро лишится единственной своей кормилицы.

За какие-то две недели ополовинилось и без того скудное поголовье скота в колхозах и совхозах. Борьба с эпидемией было почти невозможно, противоящурной сыворотки в районе практически не было, из области прислали немного, каплю из необходимого району моря...

Случилась эта беда вскоре после смерти Субботина и Нечаева. Кружилин, дни и ночи проводивший в хозяйствах района и лично следивший за организацией карантин, захоронением павших животных, дезинфекцией скотных дворов и пастбищ, насквозь пропах карболкой, усох еще больше, почернел, как чугунная доска, к вечеру его шатало, будто пьяного.

— Загулял ты, парень, аж нога за ногу заплетается, — так и сказал Назаров, когда Кружилин каким-то вечером оказался в Михайловке. Они сидели на куче плах, сложенных

у стенки амбара, перед ними был ток с тремя длинными соломенными навесами. Два навеса были пустынные, под третьим шли работы — стучали веялки, под навес въезжали брички-бестарки с зерном, женщины и ребятишки деревянными лопатами и совками разгружали их, провеянный хлеб насыпали в тачки и по настилу из досок возили в амбар. Солнце еще было довольно высоко, оно обливало каменные громады, взгорье за током и соломенные крыши навесов жидкой медью, которая струями стекала вниз, по столбам и, казалось, мелкими каплями просверливала насквозь, капли при этом застывали, образуя на земле кучи.

— Гуляю вот. На Руси горе всегда водкой заливали... — усмехнулся Кружилин. — Урожай весь сгорел, теперь — без скота остались.

— Оно всегда где тонко, там и рвется, — невесело отозвался Назаров. — Это закон известный...

— Что ж дальше-то будет, Панкрат?

Кружилин спросил это не потому, что не знал, что будет дальше. Ему надо было облегчить неимоверную тяжесть в душе. Ни перед кем другим он этого бы не сделал, а перед Панкратом можно было, для этого он сюда и завернул, хотя знал, что, в общем-то, это самообман. Но ему просто захотелось посидеть с ним рядом, просто помолчать, хотя опять же знал, что молчания никакого не получится.

— Голод, что ж дальше... Почище, чем в тридцать третьем.

Кружилин тяжело вздохнул, посмотрел на несжатую хлебную полосу за током. Ток находился на краю Михайловки, сразу же, метрах, может, в ста, и начиналась эта небольшая хлебная полоса. Кружилин вспомнил, что из года в год Назаров сеял тут рожь, и ничего больше, скашивал полосу эту всегда позже других.

— Субботин перед смертью сказал: всю жизнь меня будто медведь-шатун ломал, будто крутила какая-то дикая и безжалостная сила, а я пытался ей не поддаться, одолеть... Последние слова это его были.

— Хороший был человек, вечное ему царство небесное, — негромко откликнулся Назаров. — Он всегда в глубь народа глядел.

Под навесом по-прежнему стучали веялки, слышался говорок, раздавались крики, иногда вспыхивал женский смех. Подъезжали и отъезжали брички, гремя колесами, звенело зерно, насыпаемое железными плечами в тачки. Работа шла там безостановочная, веселая и нетрудная, какой и всегда была, как давным-давно заметил Кружилин, на любом хлебном току. Хмарь или ясная погода стоит, тепло или

холодно — на току работа всегда людям в радость, и чем больше этой работы, тем веселее, тем легче она идет.

— А дикая сила, что ж, ее хватило на наш век, да и сынам нашим ее хватит, — помолчав, заговорил опять старый председатель. — Но тут что главное понимать? Эвон, речка Громотуха наша... Не велика царица, а разоидется бывает — только держись, да сумей еще. И крутит, и волной бьет, пеной шипит, да в глаза хлещет... Не зря и Громотуха. Но это сверху. А в глубине потихоньку течет и течет неостановимо, куда надо. Ветер хлещет, назад волну гонит, а она вперед течет...

За такими вот словами, хотя они и не были каким-то откровением для него, Кружилин приехал к Назарову.

— Да-а, — произнес он. — А нахлебаться нынче — нахлебаемся.

— Это уж досыта, — подтвердил Панкрат. — Одна радость — немца под Орлом расколотили. Алейников не пишет боле?

— Нет, ничего не получал.

Все время, пока они сидели и разговаривали, чей-то пестрый теленок щипал жесткую, давно пересохшую траву, неподалеку от не сжатой еще хлебной полоски, потихоньку приближаясь к ней. Теперь он, раздвинув мордой колосья, вошел туда.

— Потравит же, — указал на теленка Кружилин.

— Эй, Агата! Савельева! Ослепла, что ль, отгони своего телка от хлеба, язви тебя! — закричал Назаров сердито, не вставая с места.

— Ах он, проклятый! — вскричала и Агата, бросила плицу, кинулась к полосе.

— Распустили скотину. Мало я с вас шкуру за это спускал! — пригрозил председатель сразу всем работницам на току.

— Скосил бы ты ее скорее, эту полоску, — сказал Кружилин. — Пока совсем не потравили.

— Да мы смотрим. Сожнем на днях. Да что эта полоска... По весне обещал твоему Хохлову шестьсот центнеров сверх плана. Да вот и плана нынче не дадим. Народ, конечно, не виноват, а придет Хохлов — все едино в глаза ему стыдно глянуть.

— Не придет.

— Что, и он?! — привстал было тревожно Назаров.

— Да нет. На завод я его отпустил все же. Без директора завод, Хохлов пока там...

— А на месте его кто ж будет?

— Мальгин.

— Этот... шаромыжник?! — возмущенно воскликнул Назаров.

— А где я другого, «не шаромыжника», возьму? — повысил голос и Кружилин. — Так я кроил и этак... Мужик все же, фронтовик, ра-

нен был... И вроде ничего в заместителях Хохлова работал. Может, поумнел на фронте. Поглядим...

Агата, стегая своего телка и что-то визгливо покрикивая, загнала его в деревенскую улицу, возвратилась на ток. К ней шагнула, будто выговаривая за телка, Анна Савельева, тоже работавшая сейчас здесь, потому что вторую бригаду Назаров ликвидировал: работы там никакой не было, на ток возить нечего, а скотные дворы опустели — уцелевших от ящура коров отогнали в карантинные загоны, устроенные в тайге, павших увезли на скотомогильник. всю территорию бригады залили карболкой. Хмурая, повязанная по-старушечьи платком Анна глянула на Кружилина, в самом деле сказала какие-то слова Агате, та стала будто в чем-то оправдываться, и обе они отошли за веялку.

Еще в июле, сразу же после того, как приехал Кружилин во вторую бригаду с письмом Алейникова об Иване и Семене, опять исчез Андрейка. Он снова убежал на фронт, сообщив об этом в записке, прилепленной к бочке; в которой он возил воду. Убежал, видимо, с вечера, бумажку утром увидела повариха Антонина, пришедшая к бочке за водой, выронила ведро, отодрала записку, с криком побежала к Анне. Но та, глянув в бумажку, в которой помимо короткой информации, что он, Андрейка, «еще раз пошел на фронт, где Семка», было прибавлено — «лучше не поднимай, мам, шуму, теперь все равно нас с Витькой никому не поймать», будто вняла этим словам и обрезала Тоньку:

— Ну и что шумишь-то? Замолчь.

— Так... Ребенок! Погибнет...

Анна записку эту аккуратно сложила вчетверо, зажала в кулаке, отвернулась чуть в сторону и долго глядела молча куда-то за Звенигору. А Тонька, ошарашенная, ждала.

Потом Анна вот таким старушечьим манером завязала потуже платок, вздохнула:

— Значит, это ему сильно надо... Ты, Антонина, молчи. Раз я прошу — ты и молчи...

Повариха и молчала. Анна сказала всем, что сынишка ее уехал на несколько дней в Шантару. Никто не беспокоился о нем, пока сама же Анна не сообщила о его побеге Назарову.

— Да ты в уме ли?! — вскричал он свирепо. — Где его теперь искать?

Анна на это лишь повторила прежнее:

— Значит, ему это надо было, Панкрат.

...Анна ушла за веялку, и Агата за ней, а Кружилин, проводив их взглядом, сказал:

— Так этот беглец больше и не подал о себе вестей?

— Нет. Как в воду, стервец, канул. Федор, муж, вестей сразу не подавал, ладно... Семка давно молчит что-то. Теперь этот страмец...

Прям на виду чернеет баба, углем берется. Все мертвей и мертвей молчит...

— Ладно, — произнес Кружилин обычное, что говорят, когда надо переменить тяжелый, неприятный разговор. — Будем надеяться — все отыщутся... У тебя сколько в колхозе шантарских ребятишек? Отпускай их давай. В школу скоро. Где они сейчас-то?

— На карантинах. Коровенок мы по пять-шесть штук разделили по загонам, чтоб в случае чего не на всех зараза распозлзлась. Детишки за ними ходят, молодцы. До холодов ящур не уймется, это уж известно. Что же, надо отпускать...

— Над ребятами все тот, Володька Савельев, верховодит?

— Он.

Кружилин поднялся, пошел к ходку. Назаров, покашливая, ковылял следом, сгорбив плечи, опустив низко руки.

Подтягивая чересседельник, Кружилин спросил:

— Я кандидатуры к наградам просил представить?

— А я тебе и ответил — Володьку вот этого, мать его Агату. Ну, Анну еще. А можешь Тоньку-повариху али деда Евсея. Да любого другого. У нас все герои одинаковые... Ты что, всерьез думаешь это... представлять? Ишо бы в другое время, если...

— Просят из области.

— Ну, попросят да под ноги бросят.

— И все-таки ты список в райком представь. Официально, — сказал Кружилин.

Анна чернела, сердце ее материнское почуяло, что с Семеном что-то случилось. Не было для этого причин, кажется, вон какие известия привез не так давно Кружилин о Семке с Иваном. Анна взяла на другой день у Агаты измятый газетный клочок с напечатанными их портретами и заметкой, долго вглядывалась в черты сына. Какой-то незнакомый он был на этой плохонькой газетной фотографии, наверное потому, что в военной форме она его никогда не видела. Поглядев, сказала:

— Наталье надо бы отдать. Ты ж все-таки взрослая.

«Взрослая» Агата сперва отрицательно мотнула головой. Затем, подумав, взяла ножницы, отрезала изображение Ивана, остальное вместе с заметкой протянула Анне.

Тогда, в июле, еще надеялись, что пшеница кое-где выдюжит, готовились к жатве, обихоживали ток, косили на лугах жухлые низкорослые травы, сметывали в невысокие стога, ремонтировали коровник к зиме — дел, словом, в бригаде было по горло. И все же Анна позд-

ним вечером однажды побежала в Шантару, уже за полночь стукнулась в домишко бабки Акулины, протянула сонной Наташе газетный обрывок.

— Вот!

— Ой? — воскликнула та испуганно. — Что? Что?

— Дурочка, ты погляди сперва.

Наташа торопливо бегала глазами по строчкам, ничего сначала не понимая, а, когда до нее дошло, она снова воскликнула:

— Ой! Да это же... Боже мой, мама! Бабушка! Да посмотрите же, ведь Семен, Семен!

И ткнулась в грудь Анны, радостно заплакала.

В бригаду Анна вернулась на рассвете, все ощущая на груди теплую и тяжелую голову жены своего сына, слыша ровное дыхание его грудной дочери, которая спала в кровати.

Легкое чувство не покидало ее все утро. А где-то во второй половине дня неизвестно почему и откуда явились и забеспокоили ее тревожные мысли: «Чего это я радуюсь-то, не к добру... Там вон какие, по радио говорят, бои хлещут...»

Женское сердце — вещун, а материнское тем более. Тревога эта пришла к Анне, нахлынула, захлестнула ее в тот час, даже в те минуты, когда Семен по вздрагивающей от взрывов земле сквозь фонтаны огня и дыма гнал свою горячую самоходку к высоте 162,4, где была окружена батарея Ружейникова, когда он, подчиняясь приказу командира самоходки Магомедова, вывалился мешком наружу. Через горы, леса и реки, через необозримое пространство, через тысячи и тысячи километров почуяло материнское сердце, что к сыну ее пришла беда. И в тот момент, когда в пятнадцати — двадцати шагах от Семена, там, где горела покинутая им самоходка, рвануло небо и землю, Семен упал, и в ушах его зазвенело, засвербило, будто туда забилось по комару, Анна, почувствовав нестерпимую боль в сердце, схватилась за него и осела на землю.

— Теть Ань? Те-еть Ань?! — испуганно вскричала Тонька-повариха. — Ты чего?

— Не знаю... Почудилось, будто с Семейю что...

— Ну вот еще! Чего там с ним? Ничего!

— Не-ет, — мотнула она головой. — Это я... почувствовала.

Да, она это почувствовала безошибочно, хотя не было для того никаких причин, кажется, и никто не объяснит такой особенности материнского сердца.

Она с того дня ни с кем о сыне больше не говорила, чернела все больше, сделалась какой-то безучастной к делам. Когда она прочла оставленную на бочке с водой Андрейкину

записку, у нее лишь плотнее сдвинулись брови и она произнесла те слова, поразившие сперва повариху, а потом Назарова. Вскоре обрушилась эпидемия ящура, ее это будто не очень и обеспокоило, она будто равнодушно смотрела, как с коровьих морд течет слюна, спокойно распорядилась павших животных отвезти на скотомогильник. Когда Назаров временно закрыл вторую бригаду, где она бригадирила, Анна вместе с другими уехала в Михайловку. По указанию председателя она стала работать на току, но теперь по целым неделям от нее никто не слышал ни слова. Даже со своим средним сыном, Димкой, которого видела иногда, не разговаривала, лишь однажды попросила:

— Хоть ты, сынок, не оставляй меня.

— Да о чем ты? Я и не собираюсь, как Андрейка, паразит... Может, его все же поймают где, а, мам?

— Может, — кивнула Анна, прижала к себе выгоревшую на солнце голову сына, долго держала так. — Что делаете сейчас?

— Председатель велел за скотом ходить. В нашем загоне двенадцать коров.

— Ага, ходите. Видишь, сынок, горе какое у людей. Хлеб сгорел, на скотину мор. Ты запомни это...

— Да разве ж такое забудется. В нашей группе Ганка, Майка с Лидкой, еще трое ребят. Коровы все у нас пока вроде здоровые.

— Надо их сберечь, а то колхозу совсем горе.

— Да мы понимаем, мама... Ты что такая невеселая? Заболела, может?

— Нет. Иди, сынок. Ступай.

Разговор этот слышала Агата и, когда Димка ушел, сказала:

— Убила ты себе в голову, Анна... Ну что зазря сохнуть? Слава богу, что они вместе с Ваней. Он его сбережет... Вот увидишь, напишут скоро оба.

— Нету же писем.

— Да идут же, в дороге где-то. Получим, я чувствую, — убежденно сказала Агата.

Предчувствие ее обмануло лишь наполовину; от Семена ничего не было, а письмо от Ивана пришло недели через полторы после разговора. Но как о нем сказать Анне Савельевой, Агата не знала. Нет, там не было страшного известия о Семене. О нем Иван вообще не упоминал ни словом. Но это-то и было непонятно и странно. В любом письме Иван хоть что-то сообщал о племяннике — воюют, мол, они по-прежнему. Значит, жив и здоров он. А тут — ни звука. Поразили Агату следующие слова из письма, нацарапанные торопливо, неровными буквами: «Анне передай, что как Федор был подлецом, так и остался, даже не подлецом, а и сказать этого в письме не могу кем,

и мужа у нее нету. Я вернусь когда, расскажу все, как на духу». Почему Иван вдруг заговорил в письме о старшем своем брате? Встретил, что ли, где его там, на войне? Али от солдат чего слышал? Что значит — «мужа у нее нету»? Убили, что ли, его или еще как погиб? Хотя, если бы это случилось, Иван, наверное, так бы и написал. А то: «...мужа у нее нету. Я вернусь когда, расскажу все, как на духу». Как это понимать?

Все последнее время Агата мучилась, как на огне, несколько раз на дню вчитывалась в эти строчки, но понять ничего по-прежнему не могла, носила письмо с собой, но Анне показать не решалась. И вот, глянув зачем-то сперва на сидящих у амбара председателя с Кружилиным, Анна сама сказала неожиданно:

— Давай письмо.

— Какое? — вздрогнула Агата.

— Не вижу, что ли? Не крути. Дай сюда. Вон в кармане кофточка-то! — И пошла за вешалку. И Агата невольно шагнула за ней.

Еще на ходу она вынула письмо из кармана, зажимая его в кулаке, неприятным от торопливости голосом произнесла:

— Тут, Анна, ничего такого про Семена. Ничего — живой он, значит.

Анна молча развернула измятый, замусленный треугольник. Письмо она, держа его обеими руками, читала долго, очень долго. Кружилин уехал, протучали его дрожки. Где-то на другом конце тока с возчиками зерна ругался Назаров. Потом шаги его стали приближаться. А Савельева Анна все смотрела в листок, вырванный из обычной школьной тетради.

— Ну чего? Письмо, что ли? — спросил Назаров.

— Ага. От Вани, — сказала Агата.

— Живые-здоровые они там с Семкой?

— Ага...

— Ну, слава богу. Поклон им отпиши.

Назаров отошел, затихли его шаги. Анна все не отрывалась от листка.

Наконец руки ее дрогнули, она подняла на Агату твердое, как камень, бескровное лицо.

— Я... я ничего не могла понять. Про Федора, — промолвила Агата.

— А тебе и не надо, — неживыми губами проговорила в ответ Анна. Голос ее тоже был как неживой. — Это только мне одной дано...

После того дня, как уехал добровольцем на фронт Николай Инютин, что-то произошло с Лидкой, дочерью учительницы Берты Яковлевны. Долговязый Колька будто увез с собой

ее вечную желчь и все колючие слова, которые она постоянно рассыпала вокруг, и, лишенная этого, она сразу же сделалась растерянной и беспомощной, притихла. Да и все мальчишки и девчонки, работающие в колхозе, в чем-то изменились, словно в один день сделались старше, как-то реже затевались нехитрые ребячьи забавы по вечерам, совсем прекратились ссоры, которые раньше иногда бывали. Инютина провожала все, так распорядился председатель колхоза Назаров. Узнав, что ученик их школы уезжает на фронт, он освободил всех от работы на целый день и выругал деда Евсея Галаншина и полкового бригадира Володьку, которые не хотели давать подвод на станцию.

— Запрягай, сказано, четыре подводы! — повысил он голос. — Соображалка работать перестала? Свезешь мне ребятшек и обратно привезешь... Савельев, Володька! Комиссаром при деду будешь...

— Да ладно, — нехотя буркнул Владимир. — Только и так кони измаянные.

— Без разговоров у меня! Деятели.

Николай Инютин прямо ошалел, когда они все высыпали гурьбой на перрон и, галдя наперебой, как воробьи, окружили его. В поношенном, выгоревшем на солнце, великоватом в плечах, видимо, отцовском пиджаке он стоял возле заплаканной матери и молчаливой сестры Верки, был тоже хмур и бледен, сперва даже не мог и сообразить, зачем это они все явились сюда. А когда понял, губы его задергались, глаза заблестели и, крутясь меж них, он бесвязно говорил:

— Это ж надо, а? Спасибо, что ж... Ведь такая даль, из колхоза. Мам, Верка... Видите? Ну, прямо я... не предполагал.

Он это говорил и тер пальцем свой горбатый нос.

Позже других он увидел Ганку, стоящую чуть в сторонке, длинными руками разгреб всех, будто колосья в поле, шагнул к ней.

— И ты... пришла?

— Ага... — кивнула она. — Мы все приехали тебя проводить. Димка вот. Лида...

Губы у Николая опять чуть дрогнули, он стоял перед ней, опустив тяжело длинные руки.

— П-понятно. Я так рад, что все... А Лидка где?

— Я здесь, Коля, — произнесла девушка негромко, смахнув слезу.

Он повернулся к ней, стоял какое-то время молча, спина его тоскливо горбилась. Он как-то странно оглядел ее всю, ощупал черными и грустными глазами ее загорелое лицо, шею. И опять, чуть занкнувшись, проговорил:

— П-понятно. Зачем плачешь?

— Я не плачу. Я думала, ты будешь в красноармейской форме. Почему не выдали?

— Выдадут. Нас сперва в Новосибирск... Там и выдадут, сказали. Счас вот поезд подойдет.

Потом Николай замолчал, и все примолкли. И в этой тишине он вдруг произнес отчетливо:

— Ты, красивая, Лид. Я тебе буду писать, ладно?

Большие глаза ее совсем переполнились слезами, она, постояв еще столбом, всхлинула, мотнула головой, повернулась и, рыдая на ходу, побежала прочь. Ганка и несколько девчонок с криком «Лида, Лида!» бросились за ней. Николай смотрел на все это с грустью, все вытирая горбатый нос, а перед ним вертелся Андрейка и попискивал, как птенец:

— Дядь Коля, дядь Коля... До свидания. Хорошо б и мне твой фронтовой адрес узнать. Да я боюсь, что не успею...

В суматохе никто не обратил внимания на слова Андрейки, на то, что он впервые назвал его дядей.

Поезд действительно скоро пришел, Лида не появлялась до самого его отхода. Николай, высунувшись из опущенного окна дощатого пассажирского вагона, хватал на прощание протянутые ему руки и, отвечая на крики провожающих, все искал глазами Лиду, но ее не было. Она выскочила из-за угла станции, когда скрипучий поезд уже тронулся, и, отбежав от здания на несколько шагов, остановилась, стала махать ему косынкой. И Николай махал ей рукой, не обращая теперь ни на кого больше внимания, даже на сестру и мать, махал до тех пор, пока состав не скрылся за поворотом.

Так Николай Инютин, вечно выдумывающий необычные вещи парнишка, который недавно еще пытался скрестить кроля с зайчихой и выпускал на уроках то воробья, то крысу, уехал воевать. С тех пор прошло уже несколько недель, в Михайловском колхозе, в Шантарском районе, на фронте и по всей стране произошло множество разных событий — и радостных и горестных, — а Николай Инютин все не писал Лиде, как обещал, но она верила, что он напишет, и в ожидании этого жила своей тихой теперь и замкнутой жизнью.

Эпидемия в Михайловском колхозе началась со второй бригады. Назаров немедленно рассредоточил по лесным карантинам весь скот, а ребятам, собрав их в риге, сказал:

— Теперь и вовсе обстановка фронтовая в колхозе. Не спасем скот — гибель колхозу. Помогайте, детки, просьба такая от правления. На прополке вы хорошо подмогли, теперь здесь давайте.

Назаров и Володька Савельев назначили Димку «начальником карантина № 1» непо-

далеку от Михайловки, велели сделать загородку из жердей, куда отделили двенадцать коров. Выпускать их из загона было нельзя, каждый день ребята тяжелыми косами соскребали по глухим таежным углам перезревшую уже траву, девочки сгребали ее, потом на бричке везли к карантину и сваливали в загон.

Жесткую, как проволока, траву косить было тяжело, но ребята этому научились. Не умели они лишь отбивать косы, это делал Володька Савельев, а то и сам председатель. Каждый день кто-нибудь из них обязательно наведывался в карантин узнать как дела, не потекли ли у какой коровенки слюни.

Вечером приезжали две доярки с бидонами, оставались тут до утра в старой изодранной палатке, а ребята шли на ночлег в Михайловку. Утром, еще до восхода солнца, они возвращались, а доярки со своими бидонами уезжали.

Так они и жили день за днем. Работа была не такой трудной, как на прополке, не изнуряла теперь жара, но все равно все уставали, шуток и вообще разговоров было мало.

В один из последних вечеров августа, когда приехали доярки, Димка спутал выделенную их карантину лошадь и пустил пасться на ночь. Лидка с остальными уже отправилась в Михайловку, Ганка еще плескалась в лесном ключе, отмывая пыль с лица и рук и явно поджидая его.

— Чего ты с ними не пошла? — спросил он, вешая на сук только что снятую с лошади уздечку.

— Да я... чего тебе одному идти?

— А я не в Михайловку сейчас пойду.

— А куда ж?

— Да так... Может, туда, на развилку, схожу, откуда тот каменный великан виден.

— А зачем?

— Погляжу на него.

— Да зачем тебе снова на него глядеть?

Димка пожал плечами:

— Не знаю.

Он повернулся и пошел. Она тихонько двинулась за ним следом.

К Димке она относилась теперь не так, как прежде. Что произошло с ней за это лето, особенно после того случая на прополке, когда приезжал в бригаду секретарь райкома партии, она не знала, не понимала, но чувствовала — что-то произошло. Мир был полон теперь еще большей сложности и непонятности. Оно вроде все и понятно — ну, уехал добровольцем на фронт Николай Инютин, у которого были, оказывается, какие-то чувства к ней, он приходил даже к ней из Шантары прощаться... Он сильно обиделся на нее, и вот потом чем-то поразила его Лидка, он обещал

писать ей. И хорошо, если напишет. Лидка тайно плачет, никто этого не видел, а она знает. Придет письмо — и Лидка перестанет плакать... На фронт убежал Андрейка... Он, Димка, помрачнел, когда узнал, и в сердцах сказал: «Ну, дуралей. Раздавят где-нибудь, как мышонка». «Ты еще не вздумай, как он... Мать же тогда совсем одна останется», — зачем-то сказала Ганка. «Отвяжись ты со своими советами! Я что, вовсе болван, что ли?» — ответил он ей резко и грубо, но она не обиделась, считая, что на ее надуманные слова он так и должен был ответить... Погорел весь почти хлеб в колхозе, кроме ржи, которую они пололи, погорели все почти травы, сена колхоз заготовил совсем мало... На фронте разбили немцев под Орлом и вроде погнали их, два дня назад взяли Харьков, скоро, наверное, и Винницу освободят... А тут, в колхозе, тяжело, теперь вот еще скот болеет и дохнет, а зимой, все говорят, будет еще тяжелее... Да, все это само по себе понятно, но за этим за всем что-то есть огромное и непонятное, какой-то другой смысл, большой и важный, который пока не открывается. Но хоть и не открывается, а она уже ко всем событиям и явлениям относится не так легко и беспечно, как прежде. Вот и Димка... Она думала, что он просто молчаливый и угрюмый от природы, а это, вдруг открылось ей, не так. Он просто живет в каком-то своем мире, куда никого не пускает. Все о чем-то думает, все о чем-то размышляет.

В тот недавний вечер, когда он показал ей каменного великана, она сказала: «Димка! Ведь я тебя совсем не знаю, оказывается!» И это было правдой, с каждым днем она убеждалась в этом все больше и больше...

До развилки дорог, где росла старая корявая сосна, они дошли молча, уже в сумерках. Димка постоял, прислонившись плечом к сосне, глядя на Звенигору. Каменный великан был на месте, он безмолвно смотрел в темнеющее небо. Будто успокоившись, что великан никуда не делся, Димка опустил на землю. Ганка тоже села.

— От Семки-то все письма нету и нету, — негромко сказал он некоторое время спустя.

— Придет еще, Дим.

Он чуть приметно, сдерживая себя, вздохнул. И опять долго молчал.

— Пошли в деревню, Дима. Уже ночь. А то Володька зашипит — шляетесь, скажет, черт вас знает где, полуночники...

В Михайловке ребята спали в просторном и теплом амбаре, и Владимир Савельев по-прежнему был их главным начальником, он строго следил, чтобы к ночи все собирались из карантинных, и, хотя дом его был рядом, спал тоже в амбаре.

— Ты никогда не думала, что мы умрем? — неожиданно спросил Димка.

— Да ты... ты что?! — воскликнула она громко, испуганно. Схватила его за плечо и тряхнула, будто прося опомниться. — Ди-им?!

Он осторожно снял с плеча ее руку, но не отпустил, держал и держал в своих горячих ладонях, затвердевших за лето от тяжелых, будто каменных, черенков кос и вил, от стеблей осота и сурепки, которые пришлось выдергать на хлебных полях невообразимое количество. Ганка попробовала было отнять руку, но он держал ее крепко, и она лишь дышала все сильнее и громче.

— А я вот все думаю: родится человек, ходит по земле, что-то делает... А потом... потом его не станет на земле, он исчезнет без следа. А тут все так же деревья растут, листьями шумят. И все так же он, этот каменный великан, смотрит в небо. Днем смотрит, ночью смотрит. В лицо ему то снег сыплет, то дождь мочит. А он все глядит куда-то, все глядит...

— Ты — ненормальный!

— Это правда, — вздохнул Димка, отпустил ее руку. — А что мне делать?

От такого вопроса она растерялась.

— Я... не знаю, Дима, — сказала она еле слышно. — Тебе что, тяжело?

— Да нет. Обидно только, что люди умирают.

— От природы ж так, Дима, — попробовала она в чем-то возразить, в чем-то поддержать его, хотя чувствовала, что делает это неумело. — Все живет, а потом умирает. Не только люди. И деревья вот, леса, реки...

— А надо, чтоб не было смерти на земле. Не было! — упрямо сказал он.

— Ну, так же не бывает! — воскликнула девушка чуть не плача, быстро поднялась на ноги. Но, молча постояв, опять опустилась рядом с ним. — А говоришь ты хорошо, Дима...

Он улыбнулся в темноте, она этого не видела, но почувствовала. Ей захотелось вдруг положить голову ему на плечо и так посидеть молча, но она не решилась. Не решилась, но знала, что когда-то так и будет, на душе у нее стало легко и светло.

— А вот сейчас, в этот миг о чем ты думаешь? — спросила она. — Только честно.

— Сейчас? А я не думаю сейчас. Я вот смотрю на его каменное лицо, и в голове у меня... слова просто.

— Какие слова?

— Да вот... «На горе высокой, длинной богатырь лежит былинный...»

— Это как? — ничего не поняла она.

— Что — как?

— Это ж... стих, что ли? — Она даже привстала перед ним на коленях.

— А я почему знаю? — сказал он, опустив голову. Голос его был грубоват. — Никакой это не стих. Так...

Вечерняя мгла медленно и неостановимо растекалась по всей поверхности земли, сумерки становились все гуще, деревья темнели и темнели.

— Ты... стихи, что ли, умеешь складывать?! — спросила Ганка еле слышно, почти задыхаясь.

— Ничего я не умею, — мотнул он головой. — Выдумала тоже. Пошли давай. — Он поднялся и пошел, но через несколько шагов остановился. — Привязалась, а теперь еще выдумала...

Но он сказал ей неправду. Он умел, как она выразилась, «складывать» стихи. Слова как-то сами собой появлялись у него в голове, укладывались в строчки, и строчки эти легко рифмовались. Он обнаружил эту особенность в себе давно, но стеснялся или даже боялся ее, никому о ней не говорил, а втайне на случайных клочках бумаги записывал различные строчки и четверостишия.

Однажды вечером, когда работали еще на прополке, он долго не мог заснуть, лежал и слушал, как где-то поблизости кричат перепела. Он осторожно поднялся, вышел из риги, постоял у стенки. День был, как всегда, жаркий, а теперь на землю упала прохлада, в той стороне, где были приречные луга, поднимался белесый туман, над Звенигорой вспыхивали, прокалывая мутное небо, первые звезды. «Спать пора, спать пора...» — все уговаривали кого-то перепела, потом где-то в кустах, недалеко от риги, ухнула сова и перепела сразу умолкли. Пахло остывающей сосновой смолой. Димке почему-то было грустновато, он присел на травянистую землю у стенки риги, ожидая чего-то, еще каких-то звуков умирающего дня. Но теперь было тихо, и ему вдруг захотелось описать стихами эту тишину, этот вечер, в голове завертелась первая строчка: «холодный вечерний воздух... холодный вечерний воздух...» Он нащупал в кармане огрызок карандаша, который все время носил с собой, достал старое Семкино письмо и в полутьме быстро, без всяких помарок и исправлений, набросал на краю листка, где было свободное место:

Стылый вечерний воздух
Густо пропах смолой.
Солнце, рассыпав звезды,
Спряталось за горой.
«Спать!» — перепелка запела.
Ухнула глухо сова.
И от росы побелела
На луговинах трава...¹

¹ Здесь и далее стихи написаны Владимиром Фирсовым.

Написал это — и поразился: ведь у него получились, жажется, стихи, настоящие стихи! Первое слово «холодный» как-то само собой заменилось на «стылый», и он почувствовал, что это лучше и правильнее, воздух действительно был не холодный, он, нагретый за день, потихоньку остывал, становился стылым.

Теперь у него есть старый обтрепанный блокнот, куда он записывает всякие пришедшие на ум слова и строчки, об этом блокноте никто не знает, и он ни за что никому о нем не скажет, даже Ганке, бесшумно шагающей сбоку. И зря он ей сегодня сказал о тех строчках, которые звенели весь вечер у него в голове...

Когда они подходили к Михайловке, Ганка неожиданно тронула его за руку:

— Дим? Звенигора высокая, но ведь не длинная. Про нее как-то и нельзя сказать, что она длинная. А?

— Ну... это, наверно, правильно. Слово другое надо поискать. Я найду...

Он проговорил это и остановился, посмотрел на нее хмуро и недоброжелательно.

— Что? — спросила она виновато.

— Ты... я прошу — никому ничего не говори про это. Понимаешь?

Она поняла, о чем он просит и почему просит. И серьезно ответила:

— Ладно, Дима.

Впервые Наташа увидела этого юркого узкоглазого старика, когда он пригнал плоты с верховьев Громотухи, она специально ходила на берег речки поглядеть на него. А недели через две он неожиданно появился в избушке Акулины, пришел под вечер, веселенький, пьяненький, и, одернув порыжелую от времени и солнца кепчонку, с порога проговорил, как пропел:

— Здравствуй, Акулинушка, прежняя кручинушка...

Старуха выпрямилась у стола, сложила под грудью руки.

— Нашла на тебя кручина — день пожила да вывелась.

— Верно, — усмехнулся старик. — От кручины вошь заводится. А я эту насекомую не люблю. Проведать ты пришел. Не прогоняй, я счас и сам уйду.

С этими словами он шагнул на середину комнаты, вынул из кармана бутылку с мутной жидкостью, поставил на стол. Наташа подумала, что это самогон, нахмурилась, отвернулась к кровати, куда укладывала дочь.

— Ишь, какая строгая твоя фатерщица, — усмехнулся старик. И, оглядывая потолок, стены, хиленькие окошки оценивающим взглядом,

точно хотел все это купить, еще раз усмехнулся: — И на берегу так же глазищами всего обцарапала, птаха-деваха... А я вот взял да сам пришел — гляди, какой я интересный. А? Что молчишь? Отвечай.

— Чего пристал к девке? — оборвала его старуха, взяла, к удивлению Наташи, бутылку со стола, спрятала в шкафчик. — Отправляйся! Лушке Кашкарихе повети починил, я видела?

— Ага, — кивнул старик. — Повети починить немудрено. Да человека невозможно, вот что жалко. Сама-то Лушка иструхла насквозь, никакой починщик ее уж к жизни не воротит. А бывалоча — эх, гнулась доска, да не ломалась.

— А ты и жалеешь...

— Человека, Акулинка, завсегда жалко.

— Где живешь-то? У ней, что ли, у Кашкарихи?

— Нет. У другой тут бывшей зазнобушки покуда. — И старик снова пьяненько усмехнулся. — Она и раньше не так строга была.

— Ступай, нам ребенка надо укладывать, не видишь?

— Ага, пошел... В тайгу вот надо, а Кружилин просит — подсоби, мол, лес-то поэкономней раскрой, а то наши не досок, а дров напилят. Ну, покуда останусь, тожеть жалко...

Старик ушел, а Наташа, разогнувшись от кровати, спросила:

— Зачем вы самогон у него взяли?

— Какой самогон? От суставов это. Он знает, что я маюс. А эти всякие снадобья он ловко делает. Иногда вот приносит.

— Добрый какой...

— А что ж, он и добрый, — сухо проговорила Акулина, обиженная теперь на Наташу за ее насмешливый тон. — Ни одну из бывших своих зазнобушек не забывает. Одной повети исправит, другой забор починит... Он — такой, Филат.

— Да я бы на вашем месте на порог его не пустила!

— Охо-хо, доченька, — вздохнула старая женщина. — Говорится, коли на порог людей не пускать, так и самому лучше за него не ступать. А за своим порогом весь век не проживешь. Жизнь вокруг своя идет, и, хошь не хошь, она тебя приспособит...

Эти бесхитростные слова приоткрыли Наташе еще какой-то кусочек сложного и непонятного человеческого бытия. Она уже не удивилась, что через неделю после своего посещения Филат Филатыч привез на лохматой лошаденке кучу досок, горбылей, всяких обрезков и начал действительно чинить покосившийся забор вокруг их избушки, заколотил щели в дровяном сарайчике, лазал по крыше, отдирал

там прогнившие от сырости тесины, заменял их новыми. Делал он все это без всякого спроса, по своему усмотрению и разумению — утром молча появлялся, а вечером так же молча, не попрощавшись, уходил. С бабкой Акулиной он, может, когда и говорил о чем, но этого Наташа не слышала и не видела.

Теперь Филат Филатыч носил каждое утро молоко для Леночки. Наташа хотела как-то дать за него деньги, но старик, повертев было в руках мятые бумажки, вдруг усмехнулся:

— Деньги — вещь серьезная. За них и глупость купить можно.

И положил деньги на стол.

— Вы... извините, — испуганно проговорила Наташа, не очень поняв смысл слов старика, но испугавшись, что он теперь перестанет носить молоко.

— А ты, деваха-птаха, летай повыше да гляди пониже... Эт полезней будет.

Праздничный день Седьмого ноября Наташа просидела дома, никуда не выходила, слушала по радио торжественные песни и марши, сообщения Советского информбюро. Там, на войне, на которой потерялся Семен, события происходили большие и радостные. Немцев полностью окружили в Крыму, наши войска перешли Днепр, еще позавчера ворвались в Киев, а вчера полностью освободили его. Потом диктор долго читал доклад председателя Государственного Комитета Обороны на заседании Московского Совета депутатов трудящихся, посвященном 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, в котором излагалась программа послевоенного устройства мира. Умом Наташа понимала, что надо радоваться, а в сердце была неизбывная, нескончаемая тоска: где Семен, что с ним?

Не было писем от Семена Савельева, но еще раньше перестали приходить они от Кирьяна Инютина. Шли-шли — и как отрезало; наступила зима, и по-прежнему ничего — ни известий от него, ни похоронки. Писал Анфисе, хотя и нечасто, сын Николай. Он был еще не на фронте, обучался в какой-то школе, в какой — не объяснял, лишь делал намеки, что скоро будет падать немцам на голову с неба «и откручивать им головы, как ржавые гайки с болтов».

— В десантные войска попал наш Колька, — догадалась Вера. — С самолетов будут их забрасывать немцам в тыл.

— Господи! — вздыхала Анфиса. — В тыл... не мог куда полегче угодить!

— Война ж, его не спрашивали. А тем более раз доброволец... Сам залез в пекло, Ашикей говорит.

Анфиса упрямо, как Наташа Миронова, ждала писем от мужа, в душе ее тяжелой и острой глыбой ворочался страх — дождется, скорей, похоронной. Да и Колька вот — как с ним будет? Она сделалась тихой, маленькой и легкой, как старуха, и каждый день, когда приближалось время прохода почтальонши по улице, поглядывала в окно, примечала ее еще издали, с колотящимся сердцем следила, как она приближается со своей тощей брезентовой сумкой на боку. Сумка тощая, да много ли надо места, чтобы уместиться там ее жизни или ее смерти. А почтальонша, молчаливая старая баба в ватнике, подпоясанная для теплоты широким ремнем, заходя то в один дом, то в другой, все приближалась. Вот она миновала дом Савельевых — она вообще в него давно не заходила, — вот подошла к ее калитке. Свернет или нет к дощатым воротам, свернет или нет?!

Почтальонша, хмуро взглянув на их небольшие окошки, иногда на ходу начинала рыться в сумке. И сердце Анфисы останавливалось — что достанет?! Если треугольник — значит ничего, от Николая это скорее всего, а может, наконец-то, и от Кирьяна! А если квадратный казенный конверт, то...

Но чаще почтальонша ничего не доставала, проходила мимо.

Ночами Анфиса почти не спала, долго и тоскливо слушала, как похрапывает на полу возле печки Вера. И перед тем как забыться на короткое время, всякий раз тяжело и беззвучно плакала.

— Да будет тебе изводиться! — сказала однажды утром ей дочь. — Глаза каждое утро рассолоделые, сгниют скоро. Противно прямо.

— Вера?! — от обиды голос Анфисы осел, был еле слышен. — Он же... отец твой.

— Да что толку нить-то? Хоть отец, хоть брат-сват... Поможет это, что ли?

— З-замолчи! — взвизгнула Анфиса и, страшная от бессонной ночи, шагнула к дочери, сжав кулаки.

— Во-он что, — усмехнулась Вера едко. — А жили-то вы с ним вроде как...

Анфиса несколько дней не разговаривала с Верой, а потом сказала ей с ненавистью:

— Сучка ты. Росла, росла — и выросла. Правильно отец говорил...

Вера на это лишь усмехнулась.

— Живешь, что ль, с Аникеем-то этим, с Елизаровым? Жену он прогнал, я слыхала.

— Нужен он мне, мешок с навозом, — ответила она ровным и спокойным голосом, насколько не смутившись от такого вопроса матери.

— Чего ты якшаешься с ним?

— Он на желдороме теперь работает. Меня обещал туда устроить. В столовую или в буфет.

— И — все?!

— А что еще?

Прошли и ноябрьские праздники, с которыми Анфису поздравил сын, открывшись ей в качествах, которых она в нем и не подозревала или как-то не задумывалась о них. Письмо пришло как раз накануне праздника, Николай после поздравлений писал в нем: «...Разве фашистам поганым понять, мама, какой у нас народ, за такую жизнь он поднялся драться двадцать шесть лет назад? За что знамена свои насквозь кровью пропитал? Если бы они это понимали — они бы поняли, что нас им сроду не одолеть, и не сунулись бы. Да разве я отдам им нашу Звенигору, свою речку Громотуху и маленькую Громотушку? Пущай выкусят. Я всегда любил глядеть, как из-за утесов Звенигоры всходит солнце и как оно потом садится, садится и плачет, словно ему неохота уходить с земли. И, покуда я живой, я не позволю, чтоб на такую красоту глядела фашистская немчура, я лучше сдохну, но перед этим загрызу, как зверь, хоть одного немца. И никто им не позволит... А об тебе, мам, я скучаю... А батка наш чего, не подал вестей? Передай поклон Лидке, квартирантке нашей, хотя я ей тоже написал...»

Анфиса, прочитав это письмо, разрыдалась от нахлынувших чувств. Ее ли это Колька, неряшливый, хулиганистый и даже, как она считала, придурковатый? Не он ли изводил в школе учителей?

Письмо это Анфиса дочери не показала, боясь, что Верка фыркнет, что-нибудь скажет такое, чем оскорбит не ее даже, а Коленьку...

«Коленьку»... Даже в мыслях она никогда так не называла сына, и теперь, когда его имя так промелькнуло в сознании, она опять заплакала, но уже не радостно, а тяжело и тоскливо, казня себя безжалостно и жестоко.

После праздника начались бураны и метели, зима заворачивала все круче. Лидка и Майка из школы прибегали красные, как помидоры, долго хлопали руками о горячие бока печки.

Где-то в середине ноября Анфиса в положенное время стояла у окна, глядела на улицу, ожидая появления почтальонши. И, когда та появилась, у Анфисы привычно заволновалось сердце. Подойдя к калитке, почтальонша достала треугольник. «Слава богу...» — отхлынула у Анфисы в груди горячая волна, оставив свой теплый след. — От Коленьки, должно. Мне или Лидке?»

Письмо было не Лиде, а ей. Оно было не казенное. И не от сына Николая. И не от мужа. И не с фронта. Оно было от какой-то неведо-

мой ей Глафиры Дементьевны Пучкиной, из Новосибирска. «...И хоть муж твой без обеих ног, да ведь живой, — шевеля побелевшими губами, читала Анфиса, руки ее дрожали, и она боялась, что порвет тетрадный листок. — Начальник госпиталя Андрей Петрович выхлопотал ему место в доме инвалидов, а Кирьян, муж твой, оттуда сбежал и теперь вот ездит по поездом, поет жалостливые песни, ему дают, а он все пропивает потом. Да как же это при живой жене-то, страм же один. Иногда он, пьяный, приезжает к нам на своей каталке, а так валяется неизвестно где, а ведь зима, околеет от холода. Я не знаю, какая ты там, Кирьян, муж твой, говорит, что большая ты стерва, так он говорит, и писать тебе ничего не велел, адресу не давал, да я у пьяного выпытала. И вот не вытерпела, обписываю тебе все как есть, бабье же у тебя сердце, может, чего шевельнется в нем. Шевельнется, так приезжай, может, как найдем его или к нам он когда зайвится. А то возьмет да уедет куда с поездом в другие края, чего ему, их много теперь таких, обездоленных войной, они везде ездют, ищи тогда его, ни с какой собакой не найдешь...»

У Анфисы, как только она начала читать, подломились ноги. Она, не видя куда, опустилась и, дочитав недлинное это письмо, встать не могла. Она бессмысленно обвела глазами комнату, не видела ни вещей, ни окон, вместо окон были какие-то расплывшиеся белесые пятна, которые к тому же качались и дрожали, как большие солнечные блики.

«Наконец-то... Кирьян!» — простонала она, срываясь с места. Судорожно сжимая в кулаке письмо, она бросилась к вешалке у дверей, стала заматывать платком голову, натянула старый ватник, все повторяя и повторяя: «Наконец-то! Кирьян... Кирьян!»

Она незастегнутая выскочила на мороз, на холод, побежала в библиотеку. И ворвалась туда еще более обезумевшая, растерянная, закричав с порога:

— Мне надо ехать! Мне надо ехать! Отпустите меня...

— Что с вами, Анфиса? — спросила заведующая библиотекой Полина Сергеевна Полипова. — Успокойтесь. Как это ехать? Куда?

— В Новосибирск! Кирьян... вот! — Она ткнула ей письмо.

Полине Сергеевне что-то в последнее время нездоровилось, она мерзла и жаловалась на головные боли. Анфиса с вечера затапливала обычно обе печи в библиотеке, топила их почти всю ночь, а сама, пока печи топились, мыла полы, протираала стеллажи. Весь день в библиотеке, несмотря на то что двери часто открывались, впуская и выпуская посетителей,

было тепло, но заведующая все равно сидела в толстом свитере, с шерстяной шалью на плечах. Эта шаль и сейчас была на ней, она поправила ее, осмотрела с обеих сторон письмо, затем усадила Анфису на диван, дала ей попить из стакана и только после этого начала читать.

— Боже мой! — воскликнула она, дочитав и опуская руку с письмом.

— Ага, — откликнулась Анфиса, поняв ее возглас. — Это ничего, что без ног. Главное, что живой. Ведь такое счастье! Отпустите?

— Да ведь это не просто сейчас — поехать куда. Это долго оформлять надо, насколько я знаю. Чтобы купить билет, надо, кажется, сначала пропуск на проезд получить в милиции.

— А вы помогите, помогите! Ведь он... тут написано, может...

Полипова немножко помолчала, кутаясь в шаль.

— Конечно, Анфиса, я попытаюсь... Я сегодня же попрошу Малыгина. А деньги у вас есть на дорогу?

— Ой, да неужели не найду!

Всего этого Анфиса в деталях не помнила. Она очнулась лишь в тесном, туго набитом людьми вагоне. Поезд куда-то шел, в руках у нее был тощий узелок, собранный квартиранткой Бертой Яковлевной. Ну да, она, припомнила Анфиса, что-то ей завязала на дорогу. А заведующая библиотекой Полина Сергеевна Полипова, жена бывшего районного начальника, сама ходила с ней в милицию, потом на станцию покупать билет. Молчаливая она все какая-то, холодная и равнодушная, как казалось всегда Анфисе, а гляди-ка, вон как отозвалась. Верка болтала — с Малыгиным, мол, Полипова живет, который работает теперь на месте ее мужа. Ну что ж, это ее дело, главное, что помогла и теперь вот она, Анфиса, скоро приедет в Новосибирск. Только бы Кирьян не уехал куда с тех мест, только бы не пропал...

Кирьян никуда не пропал, никуда не успел уехать, Анфиса нашла его на станции Инская, расположенной под самым городом.

— Там, в Инской, его надо день и ночь поджидать, там у таких... вагонных попрошаек сборное место, — сказала сноха той старухи, Глафиры Дементьевны, которая написала Анфисе письмо. — Поезды — и туда возвращаются. Видно, бражку да и водку там где-то достают, спят где-то. Я так думаю — притон кто-то держит там. Айда, я уж тебе подсоблю в розыске, ладно.

— Спасибо, Надюшка, — сквозь слезы воскликнула Анфиса.

Станция Инская — большой поселок, дома в нем почти все деревянные, одноэтажные, почерневшие от времени и от морозов, вокзалчик небольшой, каменный, похожий на длинный сарай, с грязным и вонючим каким-то буфетом. На липких столах с утра до вечера хлебали выдаваемые по карточкам жиденькие борщи железнодорожники — стрелочники, слесари, кондукторы, путевые рабочие. Часто за этими же столами сидели люди из тех, кого Надежда назвала «вагонными попрошайками», их можно было сразу отличить — у кого не было руки, у кого ноги, шинели и тужурки на них рваные, мятые, грязные, и, главное — они всегда были пьяными.

Поездов через Инскую проходило много, над станцией день и ночь стоял паровозный дым, угольная сажа сверху сыпалась круглосуточно, снег здесь никогда не был белым.

Никакого притона Анфиса и Надежда здесь не нашли, хотя, может, он и в самом деле существовал. Кирьян среди пьянчужек в буфете не появлялся.

Анфиса, почерневшая и похудевшая за эти несколько суток, день и ночь бродила по станции, заглядывала во всякую дырку, встречала каждый пассажирский поезд и, пока он стоял, пробегала все вагоны, обшаривала глазами все полки, тамбуры, заглядывала в туалеты, расспрашивала проводников, милиционеров, кондукторов, станционных рабочих о безномом человеке на дощатой каталке, но все бесполезно.

— А много их сейчас всяких, на каталках, на костылях, — отвечали обычно ей. — Разве мы знаем, какой твой.

— Не найдем... — всхлипывала Анфиса. — Господи...

— Не ной ты! — в конце концов сказала ей Надежда, молодая и красивая женщина, у которой муж погиб еще в сорок первом. — Тебя качает, давай уж по очереди, что ли, тут дежурить. Ступай к нам домой, выспись хоть, а завтра я поеду.

— Ты что?! — повернулась она к ней, как к врагу. — Ступай сама! Ой, прости ты меня, Надюшка... Ты поезжай, измаялась со мной, а я... мне нельзя.

— Ну ладно. А утром я приеду.

Ночи Анфиса проводила на жестком, давно не крашенном деревянном диванчике в зале ожидания, но никогда почти не ложилась на него, а сидела и безотрывно смотрела на топку чугунной круглой печи, так с открытыми глазами и дремала, просыпаясь от шума каждого прибывающего поезда. И станционная милиция, и дежурные по вокзалу, и уборщица помещения ее уже знали, не тревожили. Уборщица, седовласая, мужиковатая женщина, раза два говорила:

— Ну хоть айда ко мне поспи, я тут рядом живу. Появится какой безногий, вон милиция или дежурный его задержат и сразу известят.

— Нет, нет,— упрямо твердила Анфиса. — Они сменятся или еще что, а он и промелькнет...

— Тьфу ты, окаянная,— ругнулась женщина. — Рухнешь тут, да и сама скачурисься. Ты ж ненормальная уже.

Однажды утром мороз особенно трещал. Анфиса, всю ночь просидевшая на своем диванчике в забытии, глядела, как мечется за круглыми дырками печной дверцы огонь. Было это уже через неделю после начала поисков. Хлопнула дверь, и вошла Надежда, вернувшаяся из города. Она ничего не спросила, потому что и так все было ясно, вынула из сумки замотанную в тряпки миску, ложку и кусок черного хлеба.

— Поешь. Каша овсяная с конопляным маслом...

Анфиса тупо поглядела на Надежду, почувствовала пресный запах горячей каши, судорожно проглотила голодную слюну, взяла ложку, зачерпнула и поднесла ко рту. В это время раздался стук приближающегося поезда. Она бросила ложку вместе с кашей, мгновенно вскочила, кинулась на перрон, окутанный морозным туманом, сквозь который еле пробивались первые солнечные лучи.

Подошел поезд. Повалили из него люди. У Анфисы теперь была своя система: она не металась, как раньше, вдоль поезда, а стояла у первого вагона, пронизывала взглядом весь состав вдаль, следя, не появится ли из какого вагона человек на каталке. Он не появился, от состава шли прочь последние пассажиры, сошедшие на этой станции. Анфиса, как всегда, хотела проверить теперь каждый вагон. Но едва взялась за деревянный поручень, чтобы подняться в тамбур, как из третьего от нее вагона вышла какая-то женщина с квадратной доской под мышкой. «Каталка!» — как кипятком обожгло Анфису, сердце у нее бешено заколотилось.

Из вагона наземь прыгнули еще двое мужчин, стали помогать третьему снимать на землю какого-то человека.

«Он! Безногий... Кирьян, кто ж еще?!» — молотило у нее в мозгу, но крикнуть она ничего не могла: голос пропал и те немногие силы, какие оставались еще у нее, исчезли. Она не соскочила с подножки, а сползла с нее по поручню, прислонилась, чтобы не упасть, плечом к заиндевевшей стенке вагона. Стояла так и смотрела, как женщина и трое мужчин суетятся вокруг безногого человека, усаживают его на каталку. В голову ее от заиндевевшего вагона хлестал жар, голова вся наполнялась обжигающей болью. Она по-прежнему не раз-

личала — Кирьян там, тот, безногий, или не Кирьян, но была уверена, что это он, никто другой это быть не мог! И, оттолкнувшись от вагона, дико, на всю станцию, закричала:

— Кирья-я-ан!

Подбегая потом к нему, она уже видела, что это он. На крик он повернул обросшее, грязное, давно не мытое лицо, толстые, спекшиеся губы его перекошились, в глубоко запавших глазах плескался, все более разгораясь, испуг, будто к нему не жена приближалась, а смерть.

— Родимый!!! — выдохнула она и рухнула перед ним, тычась головой в грязные стальные доски перрона, в то место, где у него должны быть колени.

— Анфис... Анфис! — пробормотал он хрипло и пьяно. И, забыв свои деревянные колодки, которыми при передвижении отталкивался от земли, голыми руками уперся в осклизлые доски, подкатился к ней вплотную, взял в ладони ее растрепанную голову.

— Я тебя нашла... я тебя все равно нашла! — глотая слезы, хрипела она.

И у него глубокие и худые глазницы были, казалось, до краев переполнены слезами. Он большими и трясущимися ладонями гладил голову жены, будто мял и мял ее, и все повторял одно и то же без конца:

— Анфис... Анфис... Анфис...

Надежда, сноха старой госпитальной санитарки, стоя в стороне, смахивала со щек слезы. Безмолвно смотрели на эту человеческую трагедию военных лет женщина и трое мужчин, помогавших Кирьяну сойти на землю, проводницы из соседнего вагона, случайно проходившие мимо люди. У каждого из них в это тяжкое время были свои заботы, свои дела, а может быть, как у Надежды, и свое горе-горькое, но они, забыв о нем, стояли и смотрели, потрясенные.

В том тяжком сорок третьем, как полуторами годами раньше или позже, горе-горькое ходило по нашей земле широкими шагами, сеяло свои черные семена обильно и щедро. Не первой была трагедия Кирьяна и Анфисы и не последней та, которая случилась в селе Михайловке тринадцатого декабря, в понедельник, ранним морозным утром, когда и солнце еще не взошло.

В это утро Агата поднялась совсем затемно, растопила печь, вскипятила чугунок воды, бросила туда несколько чуть очищенных, лишь бы только соскоблить грязь, картофелин, горсть просяной муки и крохотный кусочек сала. Когда похлебка сварилась, она осторожно приподняла с сына лоскутное одеяло.

— Сынок...

Володька проснулся сразу, привычно поглядывал на глухо замороженные, от тусклого света лампы белесые, как бельма, окошки, потом на тикающие ходики, сказал:

— Что поздно разбудила? До восхода надо бы уж разок обернуться.

— Шестой час всего. Давай завтракай. Версты две туда, не боле, до полдня два раза успеем, а там лошаденки отдохнут, да еще раз съездим.

В этих двух километрах от Михайловки, неподалеку от заколоченного стана бывшей второй бригады, между двумя березовыми колками стоял небольшой стожок сена, последний из тех немногих стожков, которые удалось поставить на сожженных солнцем сенокосах. Луга и лесные опушки выскребли по травинке, кормов заготовили всего ничего, а порядочное количество скота от свирепого ящура уберечь все же удалось. Тянется пока еще декабрь, а коровенок кормить уже почти нечем, есть еще немного соломенной трухи да вот этот стожок. И по всей округе свирепствовала бескормица, поползли слухи о воровстве сена, и Назаров повелел этот стог вывезти от греха к ферме, отрядив на то Агату с сыном и двух лошадей.

Поплескавшись из рукомойника над тазом, Володька, прежде чем сесть к столу, взял школьную сумку Дашутки, сшитую Агатой из мешковины, достал тетрадку, полистал сосредоточенно, покосился на спящую в углу под старым тулупом восьмилетнюю свою сестренку, сдержанно, по-взрослому, улыбнулся, уронил одобрительно:

— Пострелуха. Ни одной тройки нету. Все четыре да пять.

Дашутка, раскинув по подушке тощие кошечки, спала, как все дети на заре, глубоко и сладко, ее не могли разбудить ни голоса, ни громкие шаги, ни хлопанье дверей, и Володька понимал это, но говорил тихо, к столу прошел осторожно и неслышно.

Единственный кусочек сала Агата положила в чашку сына, тот, склонившись над ней, хлебал сиротское варево не спеша и молча, все время отгребая этот кусочек в сторону. Выхлебав, он отложил ложку, а сероватый пластик сала остался на дне чашки, белея там.

— Ты чего, сынок? — кивнула Агата на этот кусочек. — Съешь.

— Не, то Дашутке. Ей учиться.

Агата ничего больше не стала говорить, опустила глаза в свою чашку, чтобы сын не увидел в них проступивших слез. Она стеснялась его как старшего в их семье.

Через несколько минут они были на конюшне, запрягли лошадей в розвальни. Агата подошла к стоявшему рядом коровнику, из-под

закрытых ворот которого пробивалась узкая блеклая полоска света от фонаря.

— Антонина, ты, что ль? — крикнула Агата, приоткрыв ворота. — Выйди на час.

«На час» — означало на немного, на минуточку, так говорили в Михайловке и в Шантаре и везде вокруг. Антонина зимой не кашеварила, некому и нечего было варить, она, как и все колхозники, жила зимой в Михайловке, работала на скотном дворе.

— Ну, чего? — сказала она, выйдя с лопатой в руках, которой сгребала в коровнике навоз. — Здорово ночевали, тетя Агата.

— Здравствуй, Тоня. Мы вот поехали, ты разбуди Дашутку в школу.

— А, ладно, — сказала Антонина, поглядела на маячившего во мраке возле саней Володьку. — Я сбегая, разбужу.

Когда они выехали за деревню, ночь стояла еще плотная, на черном небе безмолвно горели звезды, тоже, как деревья и кусты, будто заиндевевшие, и будто именно с них на землю осыпалась сверкающая изморозь.

Было холодно и глухо в этот ранний час, непроницаемая тишина стояла над Михайловкой, над Звенигорой, над заваленными снегом полями и перелесками.

Агата и сын ее находились в первых саянях, она сидела на голом дощатом днище, поджав под себя ноги и держа в руках вожжи, Володька лежал рядом, укрытый старым тулупом. Вторая лошаденка привычно бежала следом.

— Ты подремал бы, сынок. Пока-а еще доедем, — произнесла Агата, поглядев на сына.

Володька не откликнулся на это, а через некоторое время сказал:

— А что, мам, хорошо бы Дашутка в ученье вышла? Вон как учится. В агрономы бы, а то в ветеринары, еще лучше.

— Да... это хорошо бы, — негромко ответила Агата срывающимся голосом.

— Батяня приедет — мы ее доучим.

— Приедет, сынок, дай-то бог.

— Доктора, мам, сейчас, знаешь, какие? Они его вылечат.

— Дай-то бог, — еще раз сказала Агата.

После того письма, что Агата показала Анне на току, Иван прислал еще два-три, а затем письма прекратились, не было их всю вторую половину сентября, весь октябрь и ноябрь. Сердце Агаты все леденело, а когда выпал снег, и вовсе остановилось, будто его снегом этим засыпало и заморозило. «Вот и Ванюшка! Вот и Ванюшка...» — гвоздем долбила ей в мозг одна и та же страшная мысль, и Агата стала чернеть и корчиться, как береста на огне. Лишь в самом конце ноября наконец-то пришла от него весть, пришел привычный треугольник. Агата, не читая письма еще, за-

ревела на всю Михайловку от радости. А потом еще раз заревела от испуга, не сразу и сообразив, что самое страшное уже позади. Письмо было написано непривычно корявыми строчками. Иван сообщил, что в середине сентября он под городом Брянском, когда выбивали немцев, был «немного поранен в правую руку, осколком срезало на ней чуток пальцев, пришить чужие теперь нельзя, придется без них теперь махать рукой...»

— Про Семена... есть что?! — влетела в дом Анна, узнав о письме.

— Про Семена? Не-ет, — ответила Агата, думая о своем. И завывала, всхлипывая: — Без них теперь махать... Господи, не так же все! Не только пальцы! Тяжелше он поранен... Вот, и строчки кривые, карандаш не может держать!

— Ну и что орешь-то? — осадила ее Анна. — Живой же. Приедет скоро... Вот, «вскорости комиссуют». Ты радуйся, дура, а она срать...

Да, Иван писал, что «вскорости комиссуют меня, значит, и не гожусь теперь для войны, подлечут вот еще маленько в госпитале, вылечат окончательно то есть, не позже Нового года, сказали мне, и выпишут, приеду я к вам, родные мои...» О Семене же — ни слова, будто никогда он вместе с ним не воевал, никогда не знал, нигде не встречал этого человека, племянника своего.

О Семене он написал несколько строк наконец в следующем письме, полученном два дня назад. Строки были скупые и непонятные и оттого еще более страшные. «Там Анна изводится, понятно, что я об Семке молчу. А что писать-то? Потерялся он от меня во время одного боя. Где он, я счас не знаю. Приеду, так расскажу, как это получилось так. Ты Анну успокой, мертвым я Семку не видел, значит, он может быть живым вполне...»

Когда Агата дала Анне это письмо, та прочла строчки о сыне своем молча, молча же встала и побрела к двери.

— Ты б, Анна, сама написала Ивану... Опиши, мол, подробно, что и как, — посоветовала Агата, не зная, что сказать ей другого. — Вот адрес этого госпиталя, где Иван...

— Да что писать? — откликнулась Анна от дверей с нездоровой усмешкой. — И так все ясно...

Обо всем этом невесело вспоминала Агата, слушая, как повизгивает разрезаемый полозьями мерзлый снег. Думала об Иване своем: «Да неужто вернется, сердешный... Скорей бы!» И сквозь жившую во всем ее теле радость ожидания просачивалась откуда-то тревога: «А вдруг да приключится чего, и опять... Судьба-то у него такая — в любой момент возьмет да опять завернет?!»

От этой новой возможной несправедливости к Ивану, которую Агата привычно уже никак не могла исключить, сердце ее ныло и обливалось тупой болью.

Все так же было темно, приближались к березовым перелескам, меж которых стоял стожок. Снегу здесь намело немного, Агата это знала, дорогу к стожку торить почти и не надо, радовалась она. Разве проехать туда со шляха разок да обратно, и все. А коли так, может, хватит времени и после обеда не раз, а два съездить за сеном, в четыре воза они уложат половину стожка, а после обеда вывезут и остальное.

И вдруг она вместо того чтобы свернуть с дороги к стожку, остановила лошадь, выскочила из розвальней с криком:

— Сыно-ок!

— Что? — вскочил и Володька.

— Дорога-то к стожку... гляди!

Да, санный след к стогу был уже кем-то проложен, видно было, что туда ездили уже не раз и вывозили оттуда сено — снег был усыпан сенной трухой, темная лента по белой земле уходила во мрак, пропадала меж перелесками.

— Наше сено... своровали! — задохнулась Агата. — Седни ночью. Господи!

Она заскочила в розвальни, стегнула лошаденку, погнала ее меж перелесков по чьему-то санному следу. Володька кинулся ко второй подводе, заспешил следом.

Издали они еще увидели, что стожок наполовину разворочен, возле него чернело уже два навьюченных воза, а третий какие-то люди торопливо накладывали.

— Паразиты-ы! — издали еще закричала Агата пронзительно, нахлестывая лошадежку. — Ворюги проклятые!

— Мама? Мама-а?! — орал сзади Володька испуганно. — Не лезь к ним. Не лезь!

Он был мальчишка годами, но взрослый умом, он понимал, чем в это тяжкое время бескормицы может кончиться такая вот встреча с ночными ворами колхозного сена. Володька остановил было лошадь, но, видя, что мать с криком все погоняет свою, тоже дернул вожжамы.

Услышав крик, маячившие возле стога люди прекратили свою работу, заметались было, потом замерли. Их было трое, один, как рассматривала Агата, подъехав почти вплотную, бородатый и широкоплечий, двое других щуплые, один выше, другой ниже, тоже волосатые и немолодые. От всех шел пар, все были мокрыми. Чтоб легче было работать, они сбросили полшубки, которые валялись черными лохмотьями на снегу.

— Вы что удумали, паразиты?! — броси-

лась на них Агата, выхватив из саней вилы. — Кто такие? Запорю-ю!

— Мам! — крикнул Володька, остановил возле нее лошадь.

— Скачи в деревню, сынок, за людьми!

— До людей далеко, — зловеще усмехнулся бородастый.

— Кто такие, спрашиваю?! — кричала Агата, держа вилы наперевес. — Постой, да я тебя припоминаю, бородастый дьявол! Не климовский ли ты спекулянт, все в Шантаре молоком да маслом торгуешь? Во-он кто! Скачи, сынок!

Но скакать Володьке в деревню надо было раньше, едва они увидели воров. В горячке, однако, ни Агата, ни Володька этого не сообразили. И признаваться, что она узнала бородастого, не следовало. В этом случае, может, все бы и обошлось. Свалили бы похитители наложенное уже сено, обрубали, чтоб не вздумали гнаться, оглобли у их саней и скрылись. Теперь же дело приняло совсем другой оборот: этим троим, если останутся в живых свидетели, грозила многолетняя тюрьма. И потому один из тех, что помоложе, повыше, едва Володька стал заворачивать лошадь, метнулся к нему, в два-три прыжка достиг саней, схватил Володьку за шиворот и выбросил из розвальней в снег, прохрипев:

— Щенок!

— Не тронь его, пес! — дико вскричала Агата, повернувшись к сыну, и в это время низкорослый, у которого в руках тоже были вилы, взмахнул ими, ударил Агату по голове. Она застонала и, качнувшись, упала. Шагнув к ней ближе, низкорослый глянул на бородастого. Тот лишь кивнул головой и огладил бороду, будто сгребая с нее ледяные сосульки. Низкорослый медленно поднял вилы и с хрипом опустил их.

— Ма-ама! — смертельным криком закричал Володька.

Крик еще плавал в черном морозном воздухе, когда бородастый, опять нервно огладив бороду, кивнул высокому:

— А этот щенок — твой уж, сынка... Чтоб поровну вам обоим.

Поликарп Матвеевич приехал в Михайловку на восходе солнца. Медно-красное, большое, оно поднималось над землей тяжело и медленно, лучи его заиграли на белых снегах, каждый кристалл снега, пронзенный насквозь, засветился и запел будто о вечной и нескончаемой жизни на земле.

Приехал он сюда, к Панкрату Назарову, просто так, без дела. Может быть, и было оно, да его нелегко объяснить, если бы это по-

требовалось кому-то. По району гуляла бескормица, каждые сутки десятками падал уцелевший осенью от ящура скот, люди голодали... Тяжело было Кружилину, одинаково ответственному за жизнь людей, за сохранность скота, за подготовку к будущему весеннему севу, за все прочие дела, великие и малые, и он приехал к старому своему другу поглядеть, как же он-то переживает тяжелое это время, что он думает о нем, и, может, чему-то поучиться у старого председателя, набраться хоть немного свежих сил.

Он приехал поучиться и набраться сил, а старый Панкрат сразу же и огорошил его:

— Слава те богу, скоро сброшу с себя это председательское ярмо.

— Это... как же? — опешил Кружилин.

— Иван Савельев скоро приезжает. Вот его в председатели и выберем. Пушай он дальше похлебает. А у меня сил уж совсем никаких нет, иссяк.

— Ловко это ты.

— Возражать, что ли, будешь?

— Буду, — помолчав, сказал Кружилин.

— Ну и зря, — мрачно огрызнулся Назаров.

Они сидели за столом после завтрака, жена его, Екатерина Ефимовна, молча убирала со стола нехитрую посуду, Кружилин курил, а Назаров, сегодня не кашляя, просто сидел задумчивый, поглядывал время от времени в окно, из которого виден был скотный двор. Поднявшееся уже немного солнце обливало худенькие постройки, сине отсвечивали заваленные снегом толстые соломенные, еще не скормленные скоту крыши коровника и конюшни. Падежа животных у Назарова пока не было.

— Якорь их, что они там копаются? Приехать уж раз должны, — проговорил Назаров, подошел к окну, глянул куда-то в сторону, за коровник.

— Кто?

— Да Савельевых, Агатку с сыном, послал сено возить. Стожок сенца у нас еще на худой день сберегся. Последний.

— Пока еще не самые худые дни, считаешь?

— А что считать? Демид — он прямо глядит, а Фока всегда заглядывает с бока, — усмехнулся Назаров. — Кабы в январе весна уж начиналась...

Этими немногими и обыкновенными словами Назаров безжалостно обнажил то суровое и тяжкое, что переносил народ и что еще предстояло перенести. Это было ясно всем, и ему, Кружилину, в первую очередь, и сейчас он понял, что приехал сюда, собственно, за тем, чтобы лишний раз не в одиночку, а вместе с людьми почувствовать тяжесть сегодняшних

дней и еще более суровых грядущих, а такое всегда придавало ему новые силы.

— Немец снова, значит, на Киев прет? — неожиданно спросил Назаров, все глядя в окно.

— На Киев, — коротко откликнулся Кружилин, думая еще о своем.

— Да-а... Никогда я не был в этом Киеве, — заговорил почему-то Назаров. — Вот по истории учат детишек — в Киеве Русь зачиналась, а?

— Да... там, — сказал Кружилин, не понимая, зачем Назаров заговорил об этом.

— Так, может, немцы и вдолбили себе — там зачалась, там и кончится? Почему так и лезут в какой раз на этот город?

Такая мысль самому Кружилину никогда в голову не приходила, и он поразился тому, что сказал Назаров: ведь вполне могла эта бредовая идея гвоздем сидеть в башке какого-нибудь фашистского идеолога или теоретика! Вполне. Они, немцы, любят всякие символы. И он сказал:

— Может быть...

— Только Русь-то сейчас — она вон какая! — продолжал Назаров. — И тут у нас Русь, в соседнем с нами Казахстане, в Грузии, в Армении... Во всех республиках в смысле, да?

— В этом смысле — да.

— В Громотуху вон Громотушка впадает, другие многие речки да ручейки вливаются. Потому она и не мелеет... И в тебе она и во мне, Русь. В украинцах, татарах, во всех... разве ж все это может кончиться? Это им бы понять, людоедам.

— Если бы это Гитлер понимал, он бы никогда против Советского Союза войну не начал.

— Конечно. Дурак он, если подумать... — И Назаров вздохнул, будто сожалея, что Гитлер дурак. — Сколь горя только людям причинил, реки человеческой крови выпустил... Кириян Инютин, я слышал, вернулся?

— Да. Без обеих ног. Под пах отрезали. Заходил я к ним. Анфиса от радости прямо онемела и никак не отойдет. Не знает, куда его и посадить.

— Ты гляди-ка! — удивился Назаров. — Вот и пойми их, баб.

— Да. Но радость радостью, а ведь и жить им как-то надо. Может, ты, Панкрат, их в колхоз к себе возьмешь? Тут Кириян скорее к чему-то приспособится.

— Возьму, — сразу же проговорил Назаров. — Чего ж, не дадим пропасть. Шорничать, к примеру, будет у нас, научим, нехитрое дело. Али еще чего. Это ты верно, тут ему лучше будет.

С этими словами Назаров наконец отошел от окна, сел на прежнее место. Немного помолчав, вернулся к прежнему:

— И в этом Кирияне Русь, и в Савельеве Иване... Зря, зря ты будешь возражать, чтоб его в председатели... Добрый и славный он мужик. После гражданской он свое отсидел правильно, и это он понимает, не обижается. Остальное — зазря хлебал.

— Рано об этом говорить сейчас, Панкрат Григорьевич.

— Ну, пушай, я не возражаю, — согласился Назаров. — А на будущее все ж таки поймей... Я от Ивана тоже письмо получил. Правую руку ему отрезали.

— Руку?! — воскликнул Кружилин с болью.

— До локтя... — И усмехнулся горько. — Инютину обе ноги под пах, а ему руку только, повезло... Агатка, жинка его, еще не знает. Ты, просит он, подготовь ее как-нибудь, ей-то я покуда про пальцы только сообщил, не пишу покуда всего, жалею... Он жалеет ее, а я, значит, должен... И как это я ее должен подготовить?

Кружилин, выкурив самокрутку, раздавил окурки в металлическом эмалированном блюде, которое Екатерина Ефимовна оставила на столе вместо пепельницы. Сама она ушла, в доме никого, кроме их двоих, теперь не было. Назаров поглядел, как давит Кружилин окурки, и вдруг усмехнулся:

— А што там награды-то наши? Ты списки требовал. Когда придут?

— Понимаешь, Григорыч... Такое дело тут, не вышло ничего с наградами у нас пока. Не поняли нас там...

Старый председатель еще раз усмехнулся, хотел спросить: «Где это там?» — но не успел, потому что на крыльце загремело, хлопнула в сенцах дверь, затем отмахнулась и дверь в комнату, через порог переступила, перевалилась жена Назарова, дикая и страшная, ухватилась, чтоб не упасть, за угол печки:

— Панкра-ат?!

Назаров и Кружилин оба враз вскочили.

— Агагу... Агагу-то?! Сено воровали... Вилами запороли! И мальчонку...

— Ты что-о?! Ты — что?! — взревел Панкрат, подскочил к жене, затряс ее. — Кто ска-зал, где-е?

— Там... на улице.

Назаров отбросил в сторону жену, будто она, ненужная теперь, стояла у него на пути, схватил с гвоздя шапку, полушубок. Кружилин тоже бросился к вешалке.

Первое, что они увидели и услышали, когда выскочили на крыльцо, — по заснеженной улице с воем и криком бежали куда-то полураздетые бабы. Кружилин и Назаров молча кинулись туда же.

Через минуту они были у скотных дворов. Там стояла, окруженная толпой, подвода. Назаров и Кружилин растолкали баб и стариков, увидели жуткую картину: в розвальнях лежала

окровавленная Агата, один ее глаз, мертвый, безжизненный, был приоткрыт, он с ненавистью смотрел куда-то мимо людей; сын ее, Володька, сидел рядом, свесив низко голову, старенький рваный кожанок на нем был тоже окровавлен. А возле розвальней коленями в снегу стояла Тонька, умоляюще повторяла без конца, глотая слезы:

— Володенька?! Володя! Очнись ты... Володенька! Володя?! Очнись ты...

Хоронили Агату, как и положено по русскому обычаю, через два дня на третий. Володька, сын ее, лежал в это время в Шантарской больнице, и при нем почти безотлучно находилась Антонина.

...Тот из сыновей бородатого, что был выше, оказался слабонервнее низкорослого. Подчиняясь словам отца, он, качнув вилами, пошел на Володьку. Завизжав пронзительно, Володька задом пополз от него по снегу, не в силах оторвать глаз от приближающихся стальных, отполированных рожек, на которых играли холодные звездные блики. Одной рукой он все загораживался от приближающейся смерти и все повизгивал: «Дяденька... дяденька...»

Рука-то, может, и спасла. Скользнув по кости, раскаленные рожки вильнули не к сердцу, а левее, насквозь пропоролли плечо.

Очнулся он от яркого света, бившего в глаза, и от того, что внутри у него будто угли были насыпаны, прожигали все тело насквозь. Он понимал, что уже утро, понимал, что в лицо ему бьет солнце, вспомнил все, что произошло. В голове была муть и угарная горечь, встать не хотелось, с закрытыми глазами лежать было легче. Но он понимал также, что если будет так вот лежать, то скоро замерзнет. Пересиливая себя, встал... Каким-то образом нашел в себе силы подтащить мать к саням. Он не знал, живая она или мертвая. Он только знал, что ее надо везти в деревню.

Он забрался в розвальни сам, потянул за вожжину. Лошадь покорно двинулась, на месте почти развернула сани, потрусил в деревню привычной дорогой. Вторая подвода осталась.

Кружилин посчитал своим долгом приехать на похороны Агаты. И посчитал своим долгом сказать несколько слов перед тем, как опустят в могилу гроб с ее телом. Стоя над могилой в толпе воющих баб, он, сжимая в руках шапку, медленно ронял слова:

— ...Простая ты была женщина, Агата, была хорошей женой и хорошей матерью, хорошей колхозницей. Но такими простыми и держится наша земля. Недавно председатель ваш, Панкрат Григорьевич, говорил мне: в Громоту

ху вон Громотушка впадает, другие речки да ручейки вливаются. Потому и не мелеет Громотуха... Никогда, дорогие мои женщины, не обмелеет жизнь и духом не оскудеет земля наша, потому что живут на ней вот такие простые люди, как Агата Савельева.

А Панкрат Назаров под усилившийся рев баб лишь произнес:

— Ну что ж, Агата... Ивану твоему руку отрезали, не всю, до локтя. Он просил сообщить тебе об этом, подготовить тебя. Вот я сообщаю... Спи спокойно, ты натрудилась досыта. А об детях не беспокойся, они будут с нами, не обидим...

Из баб лишь Анна не была и не плакала, она, замотанная в собственной вязки платок из козьего пуха, стояла над могилой бесчувственная, полумертвыми глазами смотрела в темную яму, выдолбленную в мерзлой земле, одной рукой прижимала к себе Ганку, пришедшую сегодня утром в Михайловку вместе с Димкой на похороны матери их «полольного бригадира». «Мы должны ее похоронить, Дим! — сказала она еще вчера, когда возвращались из больницы. Они ходили к Володьке, но к нему не допустили. — Володя не может, так мы...» «Ага, отпросимся у Берты и пойдем с утра на лыжах», — кивнул он.

Анна прижимала к себе девушку, Димка стоял рядом, тоже с непокрытой головой, как Кружилин и Назаров, крепко сжатые губы его подрагивали.

Когда начали зарывать могилу и мерзлые комья земли гулко, как камни, застучали о гроб, Анна другой рукой прижала к себе и сына.

Опоздав к похоронам на час, прибежала пешком из Шантары Тонька.

— Уже... погребли?!

И она заплакала тяжело, по-бабьи.

А выплакавшись и никому больше ничего не говоря, принялась переносить свои небогатые пожитки в избенку Савельевых.

— Ты чего это? — спросил Панкрат, подвернув к их избе.

— А буду теперь здесь жить. Вместо матери им, Володе и Дашутке, или еще как... Варить, стирать им кто-то должен?

— Ага, ну да, — согласился, покашливая, Панкрат. — Володька чего там?

— Слава богу вроде. Поправится, доктора обещают.

...Широкими шагами ходило в тяжком sorrow третьем, как и полтора годами раньше или позже горе-горькое по нашей земле, обильно и щедро сеяло черные свои семена. Не первой была трагедия Кирияна и Анфисы и не последней вот эта, которая случилась в крохотной деревушке Михайловке. И если бы боль в одном человеческом сердце не отзывалась в другом,

которое щедро и бескорыстно отдавало ближ-
нему тепло свое и всю свою живую и горячую
кровь, жить в это время на земле было бы,
вероятно; невозможно...

Жить было бы невозможно, если бы сердце не
обладало способностью радоваться искрящемуся
под солнцем снегу и обмытой летним дождем
листве, песне соловья на восходе и шелесту по-
спевающих хлебов, высокому синему небу и
человеческим голосам под ними; если бы оно
не обладало способностью очищаться со време-
нем от страданий и тоски, не обладало вечной
способностью волноваться и вечной потребно-
стью любить...

Обо всем этом, кроме почему-то последнего,
Ганке всю дорогу от Михайловки до Шантары
толковал Димка, объяснял он это ей сбивчиво,
не глядя на нее, непрерывно останавливаясь,
расстегивая и снова затягивая ремешки на са-
модельных креплениях лыж, хотя в этом не
было надобности. А Ганка, замотанная в пла-
ток из козьего пуха (Анна час назад сама на-
дела его ей на голову, а концы завязала на
спине), шла молча, попеременно отталкиваясь
палками, смотрела на кончики своих лыж, но
не останавливалась.

— Гань... Ганя, — в конце концов не вы-
терпел Димка. — У тебя вроде лыжина расхля-
балась. Дай я перевяжу.

Она остановилась так же молча. Димка бро-
сил свои палки, опустился у ее ног. Ганка была
в старых валенках, коротком ватнике и в теп-
лых, плотно обтягивающих ноги шерстяных
рейтузах. Перевязывая ремешки ее лыж, хотя
в этом тоже не было надобности, Димка, крас-
нея, невольно косил глаза на ее коленку и
смертельно боялся, что она заметит это, сердце
его гулко колотилось.

Она ничего не заметила, молча пошла даль-
ше и так же молча свернула на заснеженную,
с осени еще заброшенную дорогу, ведущую во
вторую бригаду, где они жили летом, работая
на прополке. Они шли по этой дороге рядом,
оставляя на ровном белом снегу два лыжных
следа.

Димка догадывался, куда она свернула.
И действительно, подойдя к старой сосне, под
которой она нашла сго тогда, душным июль-
ским вечером, Ганка остановилась, воткнула
лыжные палки в снег и стала смотреть на Зве-
нигору. Каменный великан, которого показал
ей тогда Димка, безмолвно лежал на своем
обычном месте, он все так же глядел в небо,
лишь его «волосы», спускающиеся куда-то
в Громотуху, были сейчас присыпаны снегом,
они словно поседел.

Ганка смотрела, глаза ее потихоньку напол-
нялись слезами, и, когда наполнились, она про-
шептала:

— Это у него от горя...

Димка помолчал и сказал:

— Ага, он все знает... А тех троих в тюрь-
му забрали... Судить будут.

Вышли они из Михайловки во второй поло-
вине дня, сразу после похорон Агаты, солнце
тогда прошло только половину короткого теперь
дневного пути, а сейчас оно было уже где-то
за Звенигорой, за ее каменными громадами, и
еще дальше, за Шантарой, неяркие лучи его
с той стороны освещали утесы, а с этой отвес-
ные скалы уже были темными, под ними рож-
далась уже ночь.

Ганка оторвала взгляд от необычного камен-
ного изваяния, сотворенного природой, опусти-
ла голову, с ресниц ее скапнули в снег две
теплые слезинки. Она будто лишь и ждала, по-
ка они скапнут, выдернула свои палки из сне-
га и пошла...

На увал, откуда открывалась недалекая
Шантара, они вышли уже на закате. Вышли
и остановились. Большое село, на окраине ко-
торого густо дымили заводские трубы, тонуло
в снегах и в морозном вечернем тумане, клу-
бами поднимающемся с крохотной, но никогда
не замерзающей Громотушки. И в эти густые
дымы и туманы опускалось непомерно большое
и, казалось, остывающее, истратившее за холод-
ный зимний день весь свой свет и все тепло
бледно-желтое солнце.

Глядя на это солнце, Ганка и спросила:

— Дим... Жить было бы еще ну просто
невозможно, если бы сердце еще... любить не
могло? А, Дим?

— Это конечно... так это, — откликнулся он
еле внятно.

Девушка глядела на заходящее солнце, а
Димка — на выворачивающуюся слева из-под
Звенигоры широкую ленту заснеженной Громо-
тухи. Вывернувшись из-под скал, река тут
сразу раздваивалась, обтекая большой остров,
заросший тальником и черемухой. Напротив
этого острова, вспомнил Димка, они и рыбачили
в тот день, когда началась война, — Семен,
Николай Инютин, Андрейка и он, Димка. Потом
появилась Вера Инютина, и Семен ушел с ней
на остров... Весной тут, в зарослях черемухи,
ошалело поют соловьи. «А потом замолкнут и
начинают, наверное, росу клевать... — родилась
как-то сама собой у него неожиданная мысль,
необычно взволновав его. — Ну да, чтоб горло
промыты росой...»

— О чем ты думаешь, Дим? — опять спро-
сила Ганка, как когда-то. — Только честно!

— О том, как соловьи... росу клюют. Чтс-
бы петь дальше.

— Это — как же?! — Ганка повернулась
к нему, широко раскрыв глаза, промытые там,
у сосны, влагой, скапавшей в снег.

— Не знаю, — ответил он. — Но я слы-
шу — соловьи росу клюют...

Она все смотрела на него изумленно, дышала морозным воздухом все чаще. Потом воскликнула: «Ди-им!» Плечи ее качнулись, и она горькой головой ткнулась ему в грудь.

Тяжелое солнце все ниже опускалось за Шантару, за густые дымы и туманы, чтобы завтра подняться над землей снова...

«Я СЛЫШУ — СОЛОВЬИ РОСУ КЛЮЮТ...»

Эпилог

I

Лето 1947 года началось в Шантаре молодыми грозами, во все небо от края до края полыхали веселые молнии, обливали молчаливые камни Звенигоры желто-синим светом, теплые ливни щедро поили древнюю землю, ее луга и пашни, леса и степи. А когда ливни утихали, небо распахивалось до бесконечности, плавали в нем вольные птицы, днем звенели жаворонки, а ночью хлестали звездные волны.

Над теплыми очагами живущих и над холодными могилами мертвых продолжалась жизнь, вечная и нескончаемая.

Война отошла в прошлое, кончилась она, казалось, давным-давно, а жуткие последствия ее встречались на каждом шагу. Не поднялись еще из пепла деревни, из руин города, по этим деревням и городам ходили на костылях инвалиды, почти в каждом доме висели, окаймленные человеческой печалью, фотографии тех, кого война, захватив страшным своим водоворотом, унесла навсегда, кто никогда уже не увидит ни родных, ни близких, не почувствует буйных гроз, не услышит птичьего генья.

День сегодняшний не похож на день вчерашний. Жизнь шла, и все менялось в ней...

К сорок седьмому году так или иначе одни вернулись в Шантару или Михайловку, обозначились или были известны кому-то судьбы других.

Иван Савельев из госпиталя вернулся в январе сорок четвертого, не зная о трагической гибели Агаты. А когда узнал, — побледнел, казалось, насквозь, качнулся и упал бы, не подержи его Панкрат.

После, окаменевший и бесчувственный, он стоял и стоял над заснеженной могилой верной и безответной жены своей, которая в самые лихие времена была его единственной радостью и опорой.

Он стоял в расстегнутой шинели, прижимая к себе детей — здоровой рукой Дашу, а другой, наполовину обрубленной, Владимира, и полу-

пустой рукав его заламывало несильным ветерком. На груди у него покачивалось несколько медалей, горел эмалью под холодным низким солнцем орден Ленина.

Год он прожил молчаливо, замкнуто, не замечая, казалось, никого, даже хлопотавшую по дому Антонину, только все белел, белел волосами.

А в феврале сорок пятого Панкрат, покашливая, сказал ему:

— Мертвым, Иван, лежать, а живым куда ответ держать. Бери колхоз с меня...

— Это как?! — не понял сперва Иван. — Да я же и беспартийный.

— Мало ли председателей беспартийных? Народ тебя выберет. А с Поликарпом я обтолковал.

— Погоди... И ты ж — не мертвый куда.

— Ага. Ноги не скрючил, да и разогнуть не могу. Обессилился я, как древний мерин. Война куда была — скрипел, да вез. Счас вон кончается она, и силушка иссякла, все! И легкие все искашлял, вконец сгнили.

— Попробовал бы ты все же пулю ту проклятую вынуть. Надо, Панкрат, в больницу...

— А-а, — отмахнулся Назаров. — В общем, запрягайся в колхоз.

Ивана в председатели выбрали единогласно. Назаров вместо умершего по весне, сразу после победы, Галаншина Евсея стал заведовать конюшней.

Осенью сорок шестого Володька, сын Ивана, объявил отцу, что хочет жениться. Было ему тогда уже семнадцать, он вымахал почти до двух метров ростом, длинные руки, привыкшие ко всякой колхозной работе, носил тяжело, голова, крупная, с лохмами грубых волос, сидела на короткой шее как-то очень плотно и прямо.

— На ком же? — спросил отец.

— Как на ком? На Антонине. С весны я, бать, живу с ней...

Той весной по берегам Громотухи и на ее островах особенно яростно цвела черемуха, и однажды Тонька отправилась к речке наломать букет. Заканчивалась посевная, Антонина, как обычно, кашеварила на полевом стане, а под вечер как-то, накормив колхозников, в том числе и Володьку, пошла. Володька заметил это, помедлил, двинулся, озираясь как вор, следом.

Он отыскал ее в одурманивающих мозг зарослях, и, когда раздвинул ветки, она обернулась на их шелест, испуганно воскликнула, роняя охапку наломанной черемухи:

— Ой!

— Тонь...

— Ой, Володенька... — прошептала она, обессиленная враз. Он подошел к ней, дотро-

нулся до плеча, она, вздрогнув, качнулась, ноги у обоих подкосились. Уже лежа на рассыпанной черемухе, он принялся неумело и жадно целовать ее, торопливо расстегнул кофточку, обжег руки о ее тело...

— А я ждала, Володенька! Я столь годов ждала... когда ты вырастешь... — шептала она, покорная и благодарная.

Она ждала, но все время, сколько жила в их доме, добровольно взяв на себя обязанности Агаты, ни словом, ни единым жестом не показала ему этого, наоборот, все больше сторонилась его, а с приездом Ивана вообще перебралась в свой старый домишко, к Савельевым приходила лишь убраться, сварить, постирать... И вот теперь призналась в своих мыслях откровенно и просто, а Володька ей ответил:

— А я знал это, Тонь... Я понимал...

Лишь эта цветущая черемуха слышала их шепот и была свидетелем самого сокровенного и самого великого таинства в жизни людей.

— Осенью, Тонь, поженимся, — сказал он ей потом. — Подзаработаем трудодней на свадьбу...

Она мочила слезами рубцы от стальных вил на его плече и левой руке, целовала их и говорила по-детски:

— Я на семь годков старше тебя, но это ведь ничего, а? Ничего же, Володя?

— Да это что, это ничего.

— А я тебе доброй женой буду. Как собака верной, до гроба. Завидовать тебе будут!

— Да я знаю... знаю, — шептал он.

Сообщению сына Иван не удивился. По осени сделали нешумную свадьбу. И нынешним летом Антонина ходила уже с большим животом и всем говорила, что, если родится дочка, она назовет ее Агатой, в честь матери своего мужа...

А у Анфисы и Кирьяна, к изумлению многих, родился ребенок, мальчишка, еще в конце сорок четвертого, примерно через полгода, как они переехали в Михайловку.

Инютин Кирьян шорничал — целыми днями починал колхозные хомуты, шил уздечки и всякую сбрую. Потом научился ловко приколачивать подметки, набойки, латать всякую обувь, летнюю и зимнюю. С утра до ночи в дом Инютиных забегали люди, приносили разные разности, чем жил колхоз, и Кирьян забывал о своем увечье. По жарко натопленной избе ползал такой же лобастый, весь в Кирьяна, сынишка, ласкаясь, верещал, как птенец. Анфиса, уходя на работу, всегда говорила с улыбкой: «Оставьте, мужики». Возвращаясь, она приносила эту улыбку обратно, такую же чистую, нигде не растраченную. А может, она и не уносила ее вовсе, потому что Кирьян постоянно чувствовал ее на себе, и ночами, прижимаясь к теплоту

и большому телу жены, щептал не однажды:

— Я всегда знал, Анфис, что ты такая...

— Дура же я была! Ну прям несусветная, — отвечала она, и в груди у нее что-то колотилось и вздрагивало.

Верка жила в Шантаре, работала буфетчицей на железнодорожном вокзале и, по слухам, путалась со станционным милиционером Аникеем Елизаровым. К родителям, как они перебрались в Михайловку, ни разу не приезжала. Николай еще служил в армии, в мае сорок пятого, за три дня до победы, он был ранен в грудь под Дрезденом, из госпиталя написал родителям, как всегда в своем стиле: «...От же, сволочи, угостили напоследок, ну прям до злости обидно. Да ничего, мам и батяня, я их накрошил, за каждую твою ногу не меньше как по полсотне уложил, пушай отдохнут».

Судя по наградам, Колька не хвастался, в Михайловку и Лидне он слал карточки, на которых был изображен сперва с одной медалью, потом с двумя, с тремя. В середине сорок четвертого на гимнастерке его поблескивал уже рядом с медалями орден Славы, к концу этого же года появился второй, такой же, а перед боевым ранением он был награжден орденом боевого Красного Знамени. В письмах он писал о чем угодно, а фотографии слал без всяких комментариев — глядите, мол, они сами обо всем говорят, как и погоны, — Николай к концу войны стал старшиной.

Анфиса каждую карточку помещала в общую застекленную большую раму, висевшую на стене, на самом видном месте.

Шорничал и сапожничал Инютин год с небольшим. А по осени сорок пятого завернул в их уютную, тщательно обихоженную избенку Иван, новый председатель колхоза, принес бутылку водки, поставил ее, поздоровавшись, на стол. Не понимая что к чему, Кирьян кивнул Анфисе, та крутнулась в сени, оттуда в погребушку, принесла малосольных огурцов, капусты, быстро зажарила глазунью.

— Ну что ж, Кирьян Демьяныч? По одной-другой осилим?

— Да что ж, — сказал он. — Это не грех, ежели за дело.

— За дело, Кирьян.

— А за дело мы всегда смело... как в песне поется.

Инютин быстро подкатил к столу. Левою рукой оперся о его кромку, а правой об табуретку и легко забросил на соседнюю свое тело.

— Ловко это ты, — невольно произнес Иван.

— А что ж... Анфиса сперва меня все как ребенка за стол сажала, в кровать носила. Да что ж я, думаю, позор какой, сам к бабе не могу теперь забраться? Ну и приловчился. Руки у меня сильные стали...

— Вот за Анфису твою первую и выпьем. За сердце твое золотое, Анфиса.

— Ой!

— Не «ой», а выпьем, — как-то сурово подержал Кирьян. — Это ты правильно, Ваня.

Выпили, захрустели капустой.

— Хороша, — сказал Иван, кивая на тарелку.

— Капустка завсегда хорошая закуска, — кивнул Кирьян. — И поставить не стыдно, и съедят не жалко. Так что ж за дело-то?

— Колхозный бухгалтер нам скоро требуется, Кирьян. У нас работает старик, из эвакуированных. Домой засобирался.

— Ну? — не понял Кирьян. — Я слышал...

— Я выговорил, чтоб он остался, пока не подучит тебя.

— Да ты... что?! — воскликнул Кирьян, даже задохнувшись. — Из меня это получится... как из одного предмета тяж.

— А хитрое дело, что ли? Хватит в хомутах ковыряться. С полгодика приглядишься, а там... Контору новую строим, в ней же тебе и жилье будет. Две-то комнаты хватит?

В ту ночь Кирьян совсем не спал, а под утро заплакал скупыми и тяжелыми слезами.

— Ну что ты, что?! — прижала его к себе Анфиса. — Затем начала гладить по плечам. — Радоваться ж надо.

— А я и радуюсь. Людям да белому свету радуюсь, Анфис...

Теперь Кирьян Инютин работает бухгалтером и состоит членом правления колхоза. Первого сына они назвали Шуркой, а второго, родившегося под самый сорок седьмой год, — Иннокентием, Кешей. Забеременев, Анфиса заикнулась было, что тяжело, мол, второго еще поднимать будет, но Кирьян, оглядев жену теплыми глазами, сказал:

— Да какие наши возрасты еще, Анфис. До полвека мне еще три года, а тебе пять целых. Вырастим!

А вот Анна Савельева ни людям, ни свету белому не радовалась, жила одиноко и отчужденно в той же половине дома, где жили они с Федором в давние времена, утром молчком приходила на птичник, которым заведовала, вечером молчком уходила. А дома и вовсе говорить было не с кем, она лишь глядела на карточки трех своих сыновей, тоже в застекленной раме висевших на стенке, и судорожно вздыхала.

Андрейка объявился зимой сорок пятого, прислав письмо в огромном и красивом конверте аж из самой Москвы. Дрожащими руками вскрыла она этот конверт прямо при почтальонше, беспрестанно повторяя: «Нашелся... Господи, неужели нашелся?!» Андрейка писал, что просит прощения за побег, что его и Витьку

Кашкарова снова несколько раз ловили по дороге на фронт, но они сказывались бездомными сиротами, их определяли в детдома, они оттуда снова убегали и летом сорок четвертого добрались-таки до фронта... «И это хорошо, что успели, а то ведь скоро война через границу перешла и нам бы туда не добраться ни за что». Добрались и заявили, что хотят быть «сынами полка», их все равно хотели отправить в тыл, «...да тут началась, мам, наступательная операция с целью освобождения Белоруссии...»

— Операция... подумай, с целью освобождения! — обливаясь слезами, воскликнула в этом месте Анна.

— Ну, а дале, дале он как? — нетерпеливо спросила почтальонша.

Дале Андрейка писал, что их артиллерийский полк дрался под Минском, они с Витькой «в грязь лицом тоже не ударили, и хоть ни медалей, ни ордена нам не вышло, а благодарностей от командования по несколько штук у каждого — у Витьки, мам, две, и у меня тоже две. Но за границу нас с полком все равно не пустили, откомандировали в Суворовское училище, а в какое, я пока не скажу. Ты напишешь мне, по письму они узнают, что у меня есть родители, да еще отчислят. А уж попозже, как прочуюсь маленько, все сообщу и карточку свою тебе пришлю...»

Он прислал потом не одну карточку, в сорок шестом летом сам приехал в отпуск — в настоящей военной форме, с погонами, на которых поблескивали два перекрещенных пушечных ствола. Вся Михайловка высыпала смотреть на него. Он держался чуть смущенно, но солидно, по-взрослому, и только за ужином прорвалось у него прежнее, детское:

— Ганка, значит, в Винницу свою уехала?

— Еще весной сорок четвертого, сынок. Как Винницу ихнюю освободили, так они все и уехали.

— Ага. Жалко, — вздохнул он, оглядывая себя в старое, пожелтевшее зеркало.

Осенью он уехал в училище, в Москву, а Димка в Томск, где он учился уже на втором курсе университета.

Они оба приезжали к матери и нынешним летом, а вот Семен...

О старшем сыне Иван по возвращении, отойдя немного от жуткого своего горя, рассказал ей все, как было на самом деле, не утаив ничего. Анна, чтоб не закричать во время его рассказа, больно прикусила губу и, лишь когда он кончил, шевельнула онемевшим языком:

— Где ж он? Убитый? В плен угнали?

— Не знаю, Анна...

Она долго стояла столбом, будто омертвевшая и бесчувственная, глядела выгоревшими глазами за окно, ничего там не видя.

Иван, чувствуя, что надо сказать заодно и другое, еще более страшное, ибо еще раз такого разговора она может и не выдержать, а сейчас, по омертвелому, все пройдет намного легче, произнес:

— А Федора твоего я убил, Анна.

Она вздрогнула, как лошадь, которую хлестанули, не жалея, тяжелым, мокрым кнутом. Держась за угол печки, у которой стояла, она, черная, как уголь, медленно повернулась к нему.

— Брата своего, значит... — добавил Иван. — У немцев он служил.

— Ка-ак?! — прокричала она беззвучно почти, одними глазами. — Говори... все!

И он рассказал ей все о Федоре, тоже без утайки.

Зимой же сорок пятого, в самом конце года, в Шангару вернулся Петр Петрович Полипов. Какой-то исхудалый, вылинявший, в чине подполковника, он прямо с чемоданом пришел в райком, к Кружилину.

— Вот, дела свои семейные заехал решить...

Жена написала ему на фронт, что живет с другим: «Что поделаешь, Петенька, я его полюбила, и не так, как тебя когда-то, последним всплеском, но по-настоящему, я от него беременна. От тебя не получалось, а от него у меня будет ребенок, и, значит, надо нам с ним оформляться». И далее просила выслать ей согласие на развод.

— Не выслал я ей ничего. Вот сам приехал, — проговорил он, поведав обо всем Кружилину.

— Как ты воевал-то хоть, расскажи.

— Чего ж там. С редакцией по фронтам двигался... — Он усмехнулся. — Вроде и безопасно, а чуть не погиб. В войсках часто приходилось бывать, руку вот пересекло однажды. В сорок четвертом было, осенью, уже возле границы Восточной Пруссии. Едва-едва от гангрены не загорелась. Ничего, пронесло, рука вот немного покоробилась. — Он шевельнул левой рукой, действительно чуть скрюченной. — Хотели комиссовать, к тому же возраст, говорят, у вас, за пятьдесят. Но я попросил в армии оставить, пошли навстречу как коммунисту с дореволюционным стажем. А кто он, ее сожигатель?

— Малыгин, бывший заведующий райкомхозом. Сейчас председателем исполкома работает.

— По всем статьям заместил, — усмехнулся Полипов.

— Дочь у них полуторагодовалая.

— И такого человека ты держишь... На такой должности?

— Работать-то надо кому-то, Петр Петрович.

— Работать... — Он встал, прошелся по кабинету, в котором ходил когда-то хозяином, потрогал зачем-то занавеску на окне. — Субботин, слышал я, умер?

— Скончался, — ответил Поликарп Матвеевич, вспомнил свою поездку в Новосибирск летом сорок третьего, как они шли потом с Субботиным по унылому Новосибирску и как Иван Михайлович говорил ему дома: «Я давно не доверяю Полипову. Я сделал все, чтоб из обкома его убрать... Я бы вообще не доверил ему какой бы то ни было руководящей должности... А коль от тебя, Поликарп Матвеевич, зависеть будет судьба Полипова, ты этот наш разговор вспомни. «Кадры решают все». Какие будут стоять у руководства люди — так и наши дела пойдут...» Судьба Полипова от него пока не зависела, но вот он уже при одном виде этого человека вспомнил слова друга своего и старого большевика-подпольщика.

А Полипов меж тем все прохаживался по кабинету, на гимнастерке его поблескивало два ордена — Красной Звезды и боевого Красного Знамени.

— Работать... Ну что ж, поработаем и мы теперь. Уже на мирном поприще.

Он походил так по кабинету и уехал из Шангары, даже не повидав бывшей своей жены. А через месяц раздался звонок из обкома партии, которого Кружилин внутренне с беспокойством ожидал:

— Поликарп Матвеевич, есть мнение — доверить Петру Петровичу прежнюю работу. Там у тебя Малыгин не очень справляется, сам говорил...

— Говорил... Но против Полипова я возражаю.

— Почему? Фронтвик, ранен, орденосец. Зарекомендовал себя со всех сторон. У него с Субботиным трения были, но теперь...

— Я категорически возражаю!

— Ну хорошо, чего мы по телефону? Приезжайте, выскажете здесь свои возражения. Может быть, мы найдем их убедительными.

Кладя трубку, Кружилин уже знал — не найдут. Потому что объяснить внутреннюю суть этого человека словами невозможно. Чтобы понять его и убедиться не только в его никчемности, а во вредности — надо съесть с ним не один пуд соли, как съел Субботин, как съел он, Кружилин. А люди в обкоме сейчас новые, весь почти секретарский состав в послевоенные годы сменился...

В феврале сорок шестого на сессии райсовета Полипов был снова избран председателем исполкома, а Малыгин стал работать директором Шантарского маслозавода.

— Не ожидал, Поликарп Матвеевич, что ты столь энергично будешь возражать против меня

в области, — сказал Полипов Кружилину уже после сессии. — Неужели ты не понимал, что это бесполезно... в сложившейся теперь ситуации?

— Понимал.

— Зачем же на рожон лез?

— Вот что, Петр Петрович! — воскликнул Кружилин, начиная горячиться. Но, пересилив свое возмущение, успокоился. — Я считаю себя честным коммунистом и перестал бы уважать сам себя, если бы не высказал там все, что думаю о тебе.

— Да кого в наше время интересует, честен ты или не честен? — нагло произнес Полипов.

— Вот даже как?!

— Так, — отрезал Полипов с откровенно издевательской усмешкой. — И, как ты видишь и понимаешь, никакого капитала ты на этом не приобрел. Наоборот...

Да, наоборот. Поликарп Матвеевич это осознавал. Как мгновенно меняется иногда обстановка! Какие-то недели прошли со времени возвращения в Шантару этого человека, и вот он уже хозяин положения. «Кого в наше время интересует — честен ты или не честен?» Это ж он сознательно провоцирует: вот, мол, я какой на самом деле фрукт, ступай и объясни это в обкоме или где хочешь. А кому и что теперь объяснишь? Его же и обвинят в склоке, в необъективности к «фронтовику и орденосцу», который «зарекомендовал себя со всех сторон».

А «фронтовик и орденосец», глядя в окно, тихим и ровным, «примиренческим», как внутренне отметил Кружилин, голосом заговорил:

— Насколько я помню, Поликарп Матвеевич, ты всего на год или на два старше меня. И я всегда буду относиться к тебе, как к старшему по возрасту, но и ты...

Кружилин не верил ни в искренность его голоса, ни в искренность его слов. И прервал его:

— Я ко всем, кто меня моложе и кто старше, отношусь как коммунист прежде всего.

Полипов от окна повернул к нему тяжелую голову, секунду-другую поглядел молча и усмехнулся.

— Плохо ты кончишь, Поликарп Матвеевич.

— А мне кажется, это ты кончишь плохо, Полипов.

На этом они и прекратили тогда, в хмурый январский вечер сорок шестого года, свой разговор и разошлись еще более непримиримыми. Теперь, понимал Кружилин, от Полипова надо ожидать всего, любого подвоха и коварства, он не простит малейшего промаха, немедленно воспользуется им, чего, собственно, он и не скрывал. Не знал лишь тогда Поликарп Матвеевич, не мог предположить даже, что ударит

Полипов со стороны неожиданной-негаданной. И не думал, никоим образом не мог подумать и представить, с какой стороны придет Кружилину помощь. Не ему конкретно, а тому делу, которому посвятил он свою жизнь...

...Прошел всего час после этого тяжелого разговора с Полиповым, и Кружилин, ужиная в молчании, все возвращался мысленно к нему, перебирал детали разговора, когда стукнул кто-то в дверь, и на вопрос жены «кто там» из-за двери донесся равнодушный женский голос: «телеграмма».

«Откуда еще?» — хмуро думал Поликарп Матвеевич, вскрывая поданную женой телеграмму. Вскрыл, развернул листок, одна-единственная строчка запрыгала, а потом расплылась перед глазами: «Папа мама я возвращаюсь день приезда поезд сообщу дополнительно Василий». Ничего еще толком и не понимая, чувствуя только, что сердце останавливается, он покачнулся.

— Что?! — шагнула к нему жена.

Он, задыхаясь, почти шепотом, сказал.

— Тосенька, спокойно... Спокойно, милая... Нашелся, возвращается Васька, наш... сын!

И она сперва не поняла, о чем это он говорит. А когда смысл этих слов дошел до нее, побледнела и уже не покачнулась, а столбом повалилась навзничь.

— То-ося! — вскричал он, подхватив ее, и понес, бесчувственную, на кровать, а затем кинулся к шкафчику за валерьянкой.

...В Шантаре Василий был через неделю. Худой — кожа да кости, с глубоко и, казалось, навсегда запавшими на желтом лице глазами, еще и не живыми пока, он заканчивал жуткий рассказ свой, когда вошел без стука Полипов, воскликнул радостно:

— С возвращением! И с великой радостью всех вас... и всех нас! Поздравляю. Все хорошо, что хорошо кончается.

— Садись, Петр Петрович, — сказал Кружилин, пододвигая к столу стул. Глаза у Поликарпа Матвеевича были распухшими и влажными, и слез своих он не стеснялся. — Садись и послушай... Да разве нам тяжело здесь было! Рассказывай, сынок, если не устал.

— Да все уж, папа, и рассказал почти... Восстание в Заксенхаузене поднять нам так и не удалось. Рядом Берлин, всего в каких-то тридцати километрах, вызовут, опасались, войска, а что мы против них с несколькими своими гранатами и карабинами? Наши войска еще далековато были, — негромко стал говорить Василий, глядя на желтые полосы солнца, которые вламывались через окно. — Но все мы — и русские, и англичане, и поляки, и чехи — все были начеку. Ка-а-а-а-а-а-а наш лагерь было при-

казано уничтожить, это стало всем известно, и, если эсэсовцы начнут, тут уж... И в конце апреля, числа двадцать первого, кажется, задолго до рассвета ворвались охранники в наш блок, начали поднимать людей прикладами. Вот, думаю, и началось: сейчас будет сигнал на восстание и хоть несколько штук фашистов да подорву своей гранатой, спрятанной у меня в стенке. Вынул ее оттуда незаметно, спрятал в лохмотья, выбежал на плац... Там строились колонны узников, сигнала нам, нашей группе, никто не подавал. Генерал Зотов, руководитель русского подполья в лагере, тоже стоит в колонне, гляжу. Ну, погнали нас куда-то. Одежда с собой приказали взять. Куда гонят — мы не знали, но, раз с одежками, думаем, значит, не на уничтожение. А может, думаю, это маскировка...

— Боже мой, боже мой! — воскликнула мать. — Сынок!

— Ну что ты, мама, — тронул ее Василий за плечо. — Теперь-то что?

— Да ты бы, Петр Петрович, на его тело глянул! — воскликнула она. — На нем же места ровного нету, все изорвано плетьюми да палками, все в рубцах, руку собаки изглодали!.. А на спине — номер выжгли! Как на лошади.

— Ладно, мам... — Василий шевельнул плечом. — Мы и были лошадьми, только работу делали более тяжелую. Не у одного меня номер, у многих... — Он взглянул на Полипова и пояснил только ему: — Из Заксенхаузена, куда я попал в сорок четвертом, заключенных в разные места на работы гоняли. А чтоб узников нашего лагеря от других отличать, нам выжигали номера на спине. Был такой эсэовец в лагере — Густав Зорге. Даже сами нацисты звали его Железный Густав. Он и придумал так заключенных метить.

— Ужасно! — промолвил Полипов.

Василий на это лишь усмехнулся. Потом сказал:

— Густава стою мы потом живьем схватили, нашим передали. Это было уже под местечком Штейнфельд, неподалеку от городка Шверин, первого мая. Ну, под Штейнфельдом этим — леса, тут мы колонну женщин заключенных встретили, из Равенсбрюка. Не послушались уж окриков козвойных, рассыпались по лесу, стали обниматься. Самые крепкие мужики завывали, глядя на этих женщин, стон и плач над лесом поднялся. Охрана орет, стреляет в воздух — стройся, мол, а из леса никто не выходит. Эсэсовцы же сами в лес боятся... Неподалеку, давно уж слышно, канонада наших пушек гремит. Для нас это музыка, а для них... Утром первого мая и разнесся слух, что эсэсовцы строятся и собираются покинуть лагерь, на Шверин хотят идти. «Не упускать палачей!» —

раздалось по лагерю. И, знаешь, папа... Ну, смешно прямо и мерзко как-то. Едва мы, еле живые от мук, подползли к опушке и дали по ним один залп — они брызнули во все стороны, как жирные мыши. Ей-богу, как мыши, мундиры на немцах мышинного цвета были. И оружие даже побросали. Мы похватили их автоматы, да за ними. Наша группа живьем захватила двадцать пять эсэовцев, среди них оказался Железный Густав. Железный... — опять усмехнулся Василий. — Веду его, а у него между ног мокро... прости, мама.

— Ужасно, — еще раз вымолвил Полипов и пожегся, будто ему было холодно.

— Привел я его в лес, а там уж танк стоит наш. Со звездой! Из башни наполовину танкист виден, говорит что-то. Подошел я и разобрал, что война заканчивается, в Берлине последние бои идут. Об этом танкист говорил...

Когда Полипов, посидев, выпив стопку водки, поздравил Василия еще раз с возвращением и ушел, мать снова начала плакать, проговорила с укором:

— Первого мая... а сейчас январь. Где ж ты это-то время был, чего молчал? Пытка бы наша с отцом насколько раньше кончилась!

— Кончилась... — невесело вздохнул Василий. — А потом могла опять начаться. Освободили нас, да опять... уже свои.

— Как?!

— А так... Надо ж было с каждым из нас разобраться. Это непросто. Сколько будут разбираться — откуда мне было знать? Да что, если вдруг да не разберутся, как все было, чему-то не поверят? Зачем же вам...

— Сынок, сынок! — стонала она.

Обнимая мать, поглаживая ее плечо, Василий говорил отцу:

— Не знаю, пап, кто как будет смотреть теперь на меня... А ты поверь — ни одним словом, ни одним поступком я не виноват перед людьми, перед тобой с мамой. Ничем я там не посрамил свою страну. Я лучше бы тысячу раз сдох...

— Я верю, сынок, — произнес тихо Кружигин.

Когда этим вечером укладывались спать, Поликарп Матвеевич попросил:

— О Максиме Назарове, сынок, не надо пока никому... Отец его, Ганкрат, и так сильно плох.

— Все равно же, рано или поздно...

— Пусть лучше поздно. Он в больницу наконец засобирался, пулю колчаковскую из легкого вырезать. Пусть сперва съездит и вырежет, а то передумает еще...

— Ладно, — сказал Василий.

А Юрий Савельев, сын Антона и Лизы, приехал в Шантару несколько дней назад, удивив, как и Андрейка в свое время, всех — на его гимнастерке поблескивала, отражая щедрые апрельские лучи, звездочка Героя Советского Союза.

— Юрий... Антонович! — ахнул восхищенно Кружилин, когда он снял в его кабинете плащ.

— Вот, сразу и Антонович, — смутился Юрий.

— А кто ж еще? Старший лейтенант, герой! Ну, рассказывай, что и как...

— Долго это. Воевал все время на Первом Украинском. Под Сандомиром, когда Вислу форсировали, был тяжело ранен. В госпиталь уже пришло известие, что правительство меня наградило... Потом опять воевал, был и под Берлином, хотя брать его не пришлось. Зато освобождал Прагу. Народ наш Победу в тот день праздновал, а мы еще дрались. А десятого мая был опять ранен, на этот раз легко... Вот и все, если коротко.

— Мать бы с отцом на тебя поглядели!

— Да... расстраивал я их, бывало...

И Наташа, когда он с букетом купленных на базаре цветов пришел к ней в домишко бабки Акулины, точно так же воскликнула, изумленная:

— Юрий!

Она метнулась к нему, повисла на шее, приглася беспорядочно целовать, отчего у него бешено заколотилось сердце. Когда он уезжал на фронт, она, хотя он и не надеялся, пришла на вокзал его провожать. Держалась она отчужденно, на прощание сказала: «Потеряться на войне не смей, слышишь... Возвращайся». Он всегда помнил ее слова и вот вернулся, а она, обрадованная, кинулась к нему, принялась целовать...

Но в следующую минуту он понял, что надеяться ему не на что. Разглядывая его сквозь слезы, погладив вздрагивающей ладонью его Звезду, она произнесла:

— Я верю, Юрий, — вот так однажды распахнется дверь и войдет Семен. Я жду...

Потом они пили чай, бабушка Акулина наликала его в чашки, и Юрий, слушая, как бушует за окном скоротечная летняя гроза, говорил, что остался бы, наверное, в армии навсегда, если бы не ранения, а сейчас он пойдет учиться в какой-нибудь технический вуз, ему уже тридцать шестой год, критический возраст, после которого в институт не примут.

— А дочка где? Жива-здорова?

— В детском садике она. Такая дивчина растет!

Так или иначе, но к лету сорок седьмого вернулись в Шантару и Михайловку коренные их жители, обозначились или были ведомы кому-то судьбы других. Манька Огородникова, например, еще в войну вернулась из заключе-

ния, отсидев срок за укрывательство ворованного, быстро продала свой домишко и уехала в город, сказав Верке: «Пока в Новосибирск, а потом еще куда-нибудь, чтоб проклятый Макар не нашел». И кто знает, зря, может быть, уехала, через пару недель объявился в Шантаре Макар Кафтанов. Был он какой-то непривычно молчаливый, сильно постаревший. Пожив дня три у Кашкарихи, приемной своей матери, отправился в Михайловку, и там у них с Анной произошел такой разговор: «Мучаешь все землю?» — «Живу...» — «Где околичивался все это время?» — «Воевал... В сорок пятом ранен был». — «Теперь снова воровством занимаешься?» — «Нет... Отворовался». — «Зачем сюда приехал?» — «Не знаю. Так... Думал, Мария Огородникова тут. А ее нету... И с тобой попрощаться. Не поминай лихом...» Он не спросил Анну, сестру свою, ни о муже ее, ни о сыне, ушел из Михайловки, на другой день уехал из Шантары неизвестно куда, и — с концом... Аркадий Молчанов, получивший срок в связи с «делом» Ивана Савельева, был выпущен задолго до войны, жил где-то на Алтае, всю войну провоевал, не получив ни одной царапины, демобилизован был в числе первых и вернулся на прежнее жительство в Михайловку... И лишь о Семене Савельеве да Якове Алейникове к лету сорок седьмого никто и ничего не знал. Иван был последним, кто видел того и другого в сорок третьем, а с тех пор прошло целых четыре года. Четырежды опадала листва с деревьев, столько же раз засыпали землю холодные снега, и они навсегда, кажется, замели и стерли с земного шара их следы...

II

Прошло еще десять лет.

День сегодняшней никогда не похож на день минувший, да прошлое из жизни не вычеркнешь. Одни любят вспоминать свое прошлое, другие не любят, но оно живет в каждом до последних дней его и так или иначе определяет слова и поступки людей, их любовь и ненависть и, в конечном счете, смерть или бессмертье...

В 1957 году Поликарпу Матвеевичу Кружилину исполнилось ни много ни мало — шестьдесят семь. Постаревший и одинокий (жена скончалась три года назад, сын Василий работал в Шантаре редактором районной газеты), он жил теперь в Михайловке и еще трудился — был у Ивана Савельева, в колхозе «Красный партизан», секретарем партийной организации. Раньше колхоз назывался «Красный колос», но Петр Петрович Полипов, в конце пятидесятого снова став первым секретарем райкома партии, вдруг поморщился однажды:

— «Красный колос»... Патриархальщина какая-то. Разве бывают красные колосья? Желтые там, золотистые... Черные бывают, если головней заражены. Давайте переименуем в «Красный партизан».

— А что, разве бывают еще и белые партизаны? Или там зеленые? — усмехнулся Кружилин.

Полипов внимательно, прищурив глаза, поглядел на Кружилина, сожалеюще покачал головой, будто говоря: «А ведь бывший секретарь райкома!» Кружилин был уверен, что Полипов так и подумал, но это Поликарпа Матвеевича мало волновало, и он еще раз усмехнулся.

Было позднее лето, оно кончалось, жали рожь. Подходила местами и пшеница, серо-зеленые массивы ее с каждым днем бурели и скоро должны были зазвенеть спелым звоном. Ну, думал Кружилин, покачиваясь в ходке, пускай теперь и зазвенят, рожь почти выкошена, озимые досеиваются, они с Иваном Савельевым и горсти зерна не дадут просыпаться на землю, все уж подготовлено у них и для жатвы пшеницы. Добрый, добрый вышел из Ивана Савельева председатель колхоза, умный и знающий хлебороб. Весь район его ценит, в области уважают, и даже Полипов вынужден считаться с ним. Достоинно заменил Савельев Панкрата Назарова, доживающего, кажется, последние свои денки на земле. Операцию на легких в Новосибирске ему сделали успешно, проклятую вражескую пулю, которую он столько лет носил в себе, вынули и отдали ему на память. После операции он быстро окреп, исчез многолетний кашель. «Ну, теперь я заново родился, Поликарп, — сказал ему Назаров. — Сто лет проживу, дурак был, что тебя не послушался и не лег раньше в больницу». И сто не сто, а пожил бы напоследок, да вскоре получил письмо от сына своего Максима из тюрьмы. «В сорок пятом, отец, осудили меня, — писал Максим, — сволочью и мразью оказался я, Васька Кружилин выдержал в плену, а я нет, погиб, кажется, где-то Васька, а теперь я завидую ему...» Но Василий был в Шантаре, Панкрат Назаров явился к нему и потребовал все рассказать начистоту... После этого уже не маломерная пуля, а будто килограммовый снарядный осколок начал крутиться в груди Панкрата, все там разворачивая. Прожил Панкрат жизнь славную и честную, а потому нелегкую. Но теперь от небывалой боли все сильнее скрючивался. К тому же в прошлом году таким выродкам, как Максим, вышла амнистия («До чего же гуманное все же у нас государство!» — усмехнулся невесело Кружилин), и Максим Назаров, жалкий и обмызганный, заявился недавно в Михайловку. «На радость отцу, — вздохнул угрюмо Кружилин. — Пожалел бы, подлец... Уж этого старик не выдержит...»

Поликарп Матвеевич Кружилин, поглядывая на молчаливые, сияющие под летним солнцем вершины Звенигоры, ехал по земле, на которой прошла вся его жизнь. Вся эта земля далеко окрест, тысячу раз изъезженная и исхоженная вдоль и поперек, была под его взором. Там вон, на берегу Громотухи, хороводился он когда-то с девками, а чуть левее — брод, по которому он переправлял потом партизан, уходивших от нападающих карателей полковника Зубова. Переправились они и укрылись в этой Звенигоре, за что отец Ивана, старый Силантий, поплатился жизнью, был расстрелянным полковником повешен. Яшка Алейников («Где ж он сейчас, жив ли? Иван рассказывал, что расстался с ним в сентябре сорок третьего уже после ранения, Алейников приходил в медсанбат попрощаться с ним и, уходя, пошутил — не провалюсь в землю, Иван Силантьевич, так встретимся в Шантаре после победы... Но, видно, провалился, — вздохнул Кружилин. — Жив был бы — объявился бы как-то...») — отчаянный и забубенный тогда Яшка вывел их из каменного мешка, под покровом ночи навалились они на займку в Огневских ключах, рассчитались с Зубовым, ушли в тайгу... Там, за горой, Шантара, где хозяйничает сейчас Полипов. Шестьдесят пять лет уже ему, а еще крепкий и свежий, словно не стареет, а молодеет с каждым годом этот человек и не будет ему износу, шустро и без усталости носится он по району. Выступая на разного рода районных и областных совещаниях и собраниях, с трибуны обычно не сходит, а легко и проворно сбегает — смотрите, мол, каков я еще молодец, при высоком начальстве обычно пошучивает, что он не самый старый, а самый молодой в области секретарь сельского райкома партии. Эти его шуточки воспринимаются обычно с улыбкой и, — увы! — возраст его даже, кажется, ставится ему в заслугу.

...Вся земля окрест была перед мысленным взором Кружилина, и люди все, живущие на ней, были перед ним как на ладони. Он знал всех и в Шантаре, и в Михайловке, и в других местах, знал, чем они живут и о чем думают, чему радуются и о чем грустят... Анна вот Савельева все тоскует о старшем сыне, о котором, как об Алейникове, до сих пор ни слуху ни духу. О Федоре, муже своем, думать она перестала, вычеркнула из памяти и забыла. «Он кончил тем, с чего и начал, — сказала она как-то Кружилину. — Он воевал в партизанах, а в мечтах-то на месте брата своего, Ивана, был рядом с отцом моим. Поняла это я до войны еще, Иван это мне объяснил, дура, да поздно...» Молчаливо гордится Анна средним своим сыном, Дмитрием, и младшим, Андреем. Совсем, кажется, недавно еще сопливый Андрейка стал теперь офицером, уже старший лейтенант, а из среднего, Дмитрия, и вовсе полу-

чилось необыкновенное — писатель, поэт, стихи пишет и книжки печатает, надо же! Он, Кружилин, читал его книжки — хорошие стихи, понятные, с любовью к земле и людям, иные будто просто сами запоминаются. Вот эти, например...

И Поликарп Матвеевич мысленно, строчку за строчкой, вспомнил небольшое стихотворение Дмитрия из последней его книжки:

Я три десятилетия
Живу.
И слышу —
Звезды падают в траву.
Туда, где луговая тишина,
Как чистая река,
Видна до дна.
Я слышу
Тишину моей земли
В дорожной
Остывающей пыли,
В уныло проскрипевшем колесе
И в придорожной
Матовой росе.

Я три десятилетия живу
И чутким ухом слышу
Синеву.
Я слышу паутинку,
Что плывет
Туда, где скрылся
Гулкий самолет.
Я слышу
Синеву родной реки,
Где звезды
Оставляют огоньки.
Я слышу
Глаз любимых синеву
И этим слухом
Тридцать лет живу.

«Шельмец какой! — улыбнулся в седые усы Кружилин, прислушиваясь к стуку колеса. — Верно уловил, и в колесном скрипе эта тишина-то... А сколько ж ему лет-то? Ну да, кажется, уже около тридцати... В Москве самой живет, это хорошо. Оттуда, из Москвы, многое виднее, он еще молодой и будет писать стишки не только про луговую тишину и про скрип колеса, а о всех тех делах, которые трясли и трясут планету. Что-то у него там с семейной жизнью только не в порядке, жаловалась Анна, Ганка, девчушка из эвакуированных, которая у них в войну жила, вышла за кого-то другого, кажется... И у Николая Инютина, сына Кирьяна и Анфисы, пока не сложилась семейная жизнь. Ну, этот не унывает. Он долго служил в армии после войны, был демобилизован только в начале пятидесятого, пришел к нему в райком — такой же долговязый, как в детстве, поводит из стороны в сторону кривоватым носом, поздоровался и сказал: «Может, на работу куда бы меня, Поликарп Матвеевич? Я в роте своей комсоргом был...» — «Так чего ж, давай в райком комсомола». — «А что же... там комсомолок много». — «Это в каком же смысле?» — спросил Кружилин.

«В смысле жену, может, найду. Лидка, зараза, ждать меня не стала, уехала в свою Одессу. Это все мать ее, мне Верка говорила — чего, мол, ждать его будешь, старшина он, и вечно старшиной будет, не подытай ему выше, а тебе, мол, за офицера замуж надо...» Кружилин посмеялся тогда, направил его в райком комсомола, где он работает теперь уже заведующим отделом, но все не нашел себе жену; наезжает лишь пока частенько в Михайловку, к Дашутке Савельевой, дочери Ивана. Той уже двадцать два, она окончила новосибирскую школу медсестер, работает в недавно открытом в Михайловке медпункте. Красивая и постоянно задумчивая, она всегда оживляется, как приезжает Инютин. Значит, дело пойдет у них на лад, и хорошо это, славный он парень, Николай, он, Кружилин на месте Полипова давно бы рекомендовал его секретарем райкома комсомола, а то и в райком партии взял бы на хорошую работу... Юрий Савельев отучился и давно работает инженером на Шантарском заводе сельхозмашиностроения (уж больше десяти лет как завод перешел на прежнюю продукцию). Из института он привез жену — маленькую, словно игрушечную, кажется, украинку, которая уже родила ему сына и дочь.

...Лошадь тащила медленно, Кружилин, погруженный в раздумья, не торопил ее. Торопиться теперь ему вообще было некуда, жизнь его подходила к закату, и он все чаще думал — плохо ли, хорошо ли прожил он ее, но по крайней мере честно. В чем-то он, бывало, и ошибался, чего-то не понимал иногда, его поправляли и ему объясняли — тот же Субботин Иван Михайлович, к примеру. Этот человек прожил жизнь самоотверженную, отдал людям всю энергию своего сердца и умер, не оставив после себя никого — похоронную на последнего сына нашли у него уже мертвого, в кармане. «Это же чудовищно, если вдуматься, — сказал Полипов зимним днем пятидесятого года, когда Кружилин передавал ему дела и когда речь зашла у них о Субботине. — Жил-жил человек, была у него жена, были три сына, и вот — никого из них на земле. Точно чудовищная мельница размолола и прах бесследно рассеяла...» Сначала Кружилин никак на это не отозвался, а Полипов не унимался: «И всех нас, в сущности, ждет это же. Работаем, сгораем... А не напрасно ли? Омар Хайям, кажется, писал: «Сгораем в пепел, прах, а где, скажите, дым?» Помнишь эти стихи?» И тут он, Кружилин, не выдержал. «Этих стихов не читал. И про всех — не знаю, а про Ивана Михайловича тебе скажу так... Если считать, что его жизнь прошла напрасно, значит, напрасно и бензин сгорает в моторе, двигая машину вперед...» Полипов лишь поднял на него свои холодные глаза, усмехнулся: «Мудр ты стал...»

Мудр не мудр, подумал тогда и стал думать сейчас, подъезжая к Михайловке, Поликарп Матвеевич Кружилин, но с годами кое-что научился понимать, стал разбираться в вопросах больших и малых, простых и довольно сложных, приобретая все большую способность точно оценивать и понимать ту или иную сложившуюся обстановку и ситуацию. И тогда, передавая дела, Кружилин понимал, что Полипов фактически сместил его, очистил себе место, воспользовавшись тем, что сын его, Василий, всю войну находился в плену. Петр Петрович не проявлял нервозности или торопливости, работал на должности председателя райисполкома, в общем, нормально, без срывов, с пониманием, казалось, относился к нелегкой судьбе Василия и к положению в связи с этим самого Кружилина — как бы там ни было, а сын первого секретаря райкома был в плену. Василий работал в автохозяйстве Шантарского завода сперва шофером на грузовике, потом автомехаником.

Как-то он напечатал в районной газете небольшую статью о лучших шоферах завода, и Полипов горячо воскликнул: «Талант же у твоего сына, Поликарп Матвеевич! Ты гляди, как он просто и интересно пишет. В этом очерке мысли есть, чего не хватает нашей газете. Это я тебе как бывший газетчик говорю!» Кружилин лишь пожал плечами. «Нет, Поликарп Матвеевич, ты недооцениваешь... Талант — вещь редкая, на дороге не валяется. Я подскажу редактору, пусть он его почаще как автора привлекает, а там поглядим...» И действительно, Василий часто начал печататься в газете, а потом перешел туда на работу рядовым литсотрудником. «Редактором будет, вырастет! — с энтузиазмом сказал Полипов. — Вот посмотришь...»

Все это было в начале пятидесятого, а летом Поликарпа Матвеевича вызвали в Новосибирск, и секретарь обкома Афанасий Дмитриевич Филимонов, работающий на месте Субботина, заинтересовался о том о сем, спросил, как здоровье.

— Не жалуюсь пока.

— А сын как, Василий?

— Нормально. В районной газете сейчас работает. В партию собирается вступать.

— Да, это Полипов его выдвинул, я знаю. Он тут с восторгом о твоем сыне всегда говорил. Мы не возражали, что же возражать?.. Таланты действительно надо поддерживать. И что он готовится стать коммунистом — великолепно. — Секретарь обкома глянул в какую-то бумагу. — Вот, готовим документы для награждения большой группы работников сельского хозяйства. В том числе и тебя, и бывшего председателя одного из ваших колхозов, Назарова... по твоей рекомендации.

— И Назарова?! Наконец-то, — усмехнулся Кружилин.

— Ты погоди пока радоваться, — хмуро сказал секретарь. — Полипов возражает. Сын Назарова осужден за измену...

— При чем здесь сам-то Панкрат Григорьевич?

— Ни при чем... Мы-то понимаем — он ни при чем. Да если бы нас всегда и во всем понимали! Хотя бы вот в связи и с твоим сыном...

— Ясно, — усмехнулся Кружилин.

— Относительно твоего награждения, Поликарп Матвеевич, тоже были возражения.

— Полипова?

— Но я отстоял, — не ответил Филимонов на его вопрос. — И это последнее, что я смог для тебя сделать. Это последнее... Тебе, к сожалению, уже за шестьдесят. Придется идти на пенсию, Поликарп Матвеевич.

Филимонов чем-то напоминал Субботина, прошлого хозяина этого кабинета, был человеком честным, порядочным и прямым. Именно ему Кружилин высказал когда-то все свои возражения против назначения Полипова председателем райисполкома. Он выслушал все терпеливо и внимательно, сказал прямо:

— Извини, не могу с тобой согласиться, Поликарп Матвеевич.

Так же прямо он сказал и здесь, и Поликарп Матвеевич, внутренне давно готовый к такому разговору, не расстроился и, помолчав, первым нарушил тишину в кабинете.

— Зачем же — последнее? Я еще могу и поработать. Ну, скажем, секретарем парторганизации где-нибудь в колхозе или совхозе. Я же михайловский, вот туда, в бывший колхоз Панкрата Назарова, и пошел бы. Поддержки, если что...

— Дорогой ты мой, Поликарп Матвеевич! — Филимонов вышел из-за стола, взял поднявшегося ему навстречу Кружилина за плечи. — Вот за это тебе большущее спасибо.

Да, Кружилин не расстроился тогда — как никак, а все же шестьдесят стукнуло, срок известный, но, прощаясь с Филимоновым, задал все время вертевшийся в голове вопрос:

— Полипов, понятно, будет первым?

— К сожалению, я не поверил твоим возражениям когда-то. А теперь так уж сложилось, — ответил Филимонов. — Ловок очень, в струю всегда идет.

— Ему же скоро тоже на пенсию, — усмехнулся Кружилин.

— Скоро, да срок не подошел еще. Но лично меня это и успокаивает, что скоро.

Крохотная деревушка Михайловка, будто закрытая от остального мира высокой Звенигорой и, несмотря на это, всегда пугливая какая-то, готовая, казалось, при малейшей опасности нырнуть в сырую темноту таежных дебрей, за послевоенные двенадцать лет значительно

расстроилась, крайние избы с длинными лентами огородов выдвинулись далеко в открытую степь, смело глядели на каждого подъезжающего широко распахнутыми окнами. За эти годы было поставлено в Михайловке немало хозяйственных и других построек — несколько вместительных амбаров, конюшня, новая просторная школа, медпункт, двухэтажное здание клуба с большим зрительным залом, с хорошей библиотекой. Такого клуба в ином районном центре нет, не пожалел Иван Савельев на него денег, хотя негусто их было в колхозе, неутомимо ходил по кабинетам различных районных учреждений, выбивая денежные кредиты на новостройки да фонды на стройматериалы. Был он непоседлив и неутомим, однако немногословен: выскажет свою просьбу и ждет решения, ждет упрямо, до конца, если надо — придет еще и еще. Бывали случаи, когда тот же Полипов, выведенный из терпения его молчаливой назойливостью, трясающейся покаленной на фронте рукой хватал трубку, кричал какому-нибудь районному начальнику: «Слушай! Дай ты Савельеву, что он просит! Только чтоб не видел я больше его в своем кабинете!» На что Иван неизменно и спокойно замечал: «Чего ты кричишь-то. Надо будет — все равно придут...»

Иван никогда, кажется, не был суетливым и очень уж речистым, но, постояв на могиле жены по возвращении с фронта, замкнулся во все, защемило у него все внутри и до сих пор не отпускало. Об Агате, да вообще о чем-нибудь своем, личном, никогда ни с кем не говорил, колхозными делами занимался, если смотреть со стороны, будто нехотя. Но Кружилин-то знал — отними у него теперь это дело, он завянет быстро, как огуречный или помидорный куст без полива, на виду засохнет, и боялся, как бы Полипов не отнял. Если что, думал Кружилин, весь район на его защиту подниму, всю область. Хорошо, что успели Ивана в партию принять.

В партию Кружилин, предчувствуя конец своего секретарства, посоветовал Ивану Савельеву вступить в конце сорок девятого.

— Не пора ли, Иван Силантьевич, подумать об этом? — спросил он его как-то.

Долго-долго безмолвствовал тогда Иван. Потом выдал из себя:

— Моя анкета-то...

— Ну, анкета — одно, а душа человека и дела его — другое... Я объясню где надо, если придется...

— Спасибо, — отвернувшись, произнес шепотом Иван. Протез на руке, показалось в тот момент Кружилину, висел у Савельева как-то особенно сиротливо и беспомощно.

Объяснять Кружилину по поводу вступления Савельева в партию нигде не пришлось. Лишь Полипов спросил было негромко:

— А белобандитство его не насторожит кое-кого?

— Не насторожило же, когда ему орден Ленина вручали на фронте. И другие награды, — сказал на это Кружилин. — А как работает в колхозе — видишь сам.

— Ну да, — согласился и Полипов и, против ожидания, никак и нигде больше об этом не говорил.

Когда встал вопрос о работе Кружилина секретарем парторганизации колхоза, Иван помолчал, взвесив за эти короткие мгновения все — положение его, Поликарпа Кружилина, и свое, всю сложившуюся ситуацию, спросил лишь:

— А тебе, Поликарп, не шибко это будет... неловко? Ты прости, что я это спрашиваю. Сам понимаешь...

— Не шибко, Иван Силантьевич, — проговорил невесело Кружилин. Что говорить, нелегко ему было тогда ответить на такой вопрос. — Люди должны до конца людям служить.

— Добре. Тогда давай помогать друг дружке...

Так сказал тогда Иван Савельев и ничего больше не добавил, и никогда после не возвращался к этой теме. Прошло немного времени — и Поликарп будто век работал в михайловском колхозе, рядом с Иваном. Они понимали друг друга с полуслова, несли вместе нелегкую ношу, которая называется — колхоз, и, «помогая друг дружке», защищая, если надо, одного, сделали его передовым в районе не к очень большому, кажется, удовольствию Полипова.

И вот сейчас председателю передового колхоза в районе Ивану Савельеву особенно требовалась его, Кружилина, помощь, требовалась защита. И защищать его надо было сейчас не от Полипова даже, а, увы, от редактора районной газеты Василия Кружилина, собственного сына...

Редактором районной газеты Василий Кружилин стал около года назад. Случилось это совершенно неожиданно; он работал и работал литературным сотрудником, правил письма читателей, ездил по колхозам и совхозам, писал корреспонденции и очерки о сельских людях, работа ему нравилась, и он ни о чем другом не помышлял. И вдруг его пригласили неожиданно в обком партии.

— Редактор вашей газеты, как вы знаете, поступает в Высшую партийную школу. Полипов, секретарь Шантарского райкома партии, рекомендует на должность редактора газеты вас. Как вы на это сами смотрите, Василий Поликарпович?

— Я?! — удивился Василий. — Да разве я смогу?

— А чего же... Ваши материалы в газете мы читали, знаем. На первых порах Петр Петрович Полипов обещал лично помочь. А он человек слова и дела... Подумайте, посоветуйтесь с отцом. Как он там, старичок, трудится?

Василия неприятно резануло это слово — «старичок».

— Ничего, работает...

Отец, когда Василий с ним посоветовался, сказал:

— Дело хорошее. И ответственное. И если эту ответственность не просто чувствовать, а осознавать умом, то что ж...

Буквально через неделю после его утверждения в этой новой должности в редакцию позвонил Полипов и сказал:

— Зайди-ка... Мы тут структуру посевных площадей на будущий год рассматриваем. Есть материал про одного закоснелого приверженца чистых паров. Сам напишешь. Лично.

По всей стране шла кампания за увеличение посевных площадей, и с этой целью предлагалось до минимума сокращать повсюду чистые пары, земля под которыми, естественно, целый год пустовала.

У Полипова сидело несколько работников райисполкома, которых Василий хорошо знал, а также бывший директор Шантарского маслозавода Малыгин, работающий теперь директором совхоза «Первомайский», и председатель колхоза «Красный партизан» Иван Силантьевич Савельев. Малыгин — в тщательно отглаженном, как и у секретаря райкома, синем костюме, в новых летних туфлях. Савельев — в старенькой, побелевшей на плечах гимнастике, подпоясанной ремнем, в растоптанных валенках.

— Значит, с тобой, Малыгин, договорились? — спрашивал Полипов. — Не подведешь?

— Зачем же... Когда совхоз «Первомайский» подводил райком партии? — даже с обидой проговорил Малыгин.

— Гляди, в сводке чистых паров тебя не показываем, — предупредил секретарь райкома, прохаживаясь по кабинету. — Сводка в область идет. И если обнаружится, что оставишь хоть один гектар...

— Да за кого вы, Петр Петрович, меня принимаете? — снова обиделся Малыгин. — Мы директивы понимаем... Не подведу, сказал.

Василий знал, что этот Малыгин был женат на бывшей жене Полипова, у них росла дочь. Отношения секретаря райкома с Малыгиным были нормальными, Полипов никогда не обижал его, наоборот, всегда ценил и при первом удобном случае отмечал и хвалил. Такая объективность Василию Кружилину нравилась, и он не понимал, почему отец к Полипову отнесится сдержанно. «В душе-то, видимо, обид-

но все-таки немного, что попросили уйти на пенсию», — думал он иногда об отце.

— Добро... — Полипов вздохнул, но не с облегчением, а, наоборот, тяжело и устало. Прошел к своему столу и сел. — Ну а ты, Савельев?

— Чего я? — помедлив, мрачно переспросил тот.

— Сколько «Красному партизану» гектаров под парами запланировать? — терпеливо спросил Полипов. Видно было, что спрашивает он об этом уже не в первый раз.

— Мы давно запланировали — тысячу четыреста.

— В прошлом году было тысяча двести, — напомнил секретарь, постукивая карандашом.

— Надо же расти...

Полипов бросил карандаш, резко встал, уперся кулаками в настольное стекло, точно хотел раздавить его. В глазах его метнулись молнии. Но Савельев спокойно проговорил, опережая секретаря:

— Право планировать предоставлено теперь нам самим. Вот мы и запланировали.

— Видал?! — почти крикнул Полипов, глядя на Кружилина. И вновь обрушился на Савельева: — Ты не забываешь, где находишься? У вас этого права никто не отбирает. Но и у нас... у райкома, никто не отобрал права контролировать...

— Правильно. И контролируйте, — сказал Савельев.

— Сейчас вся партия, вся страна борется за то, чтобы лучше использовать колхозные земли, чтобы не пустовало ни одного гектара...

— И это верно. Хозяйствовать надо умело.

— А у тебя бесплодно целый год полторы тысячи гектаров лежит.

— Под рожь готовим. Как будто не знаете, — все так же спокойно ответил Савельев, погладив усы.

Полипов снова вышел из-за стола, нервно прошелся по кабинету. Потом остановился перед Савельевым.

— Слушай, Иван Силантьевич... Ты понимаешь, что в области идет борьба за ликвидацию чистых паров?

— Что ж, хорошее дело. А мы не будем их ликвидировать.

— А скажи: кормить страну мы будем? — недобро усмехнулся Полипов.

Савельев опять погладил усы.

— Обязаны.

— А чем мы ее будем кормить? Рабочих заводов и фабрик. Жителей наших городов... Парами?

— Хлебом, мясом, молоком... — начал перечислять Савельев.

Но секретарь райкома прервал его:

— И это председатель передового колхоза

в районе! Слышишь, редактор? — Полипов сел на свое место, зажал голову руками.

— Где уж нам до передовиков, — уронил Савельев, бросил взгляд на Малыгина.

— Ну, одного из передовых, примерных... Что же тогда другие, глядя на тебя?.. — И, не поднимая головы, закончил, словно выбившись из сил: — Ладно, иди, Савельев. И остальные тоже свободны. Кружилин, останься.

Когда все вышли, секретарь райкома поднял голову.

— Вот так, Василий Поликарпович... Раскатай этого Савельева в ближайшем же номере. Поставь в пример Малыгина. Этот звезд с неба не хватает, но против стренжня никогда не прет.

И Василий раскатал...

Председатель «Красного партизана» к статье отнесся безразлично. Василий несколько раз видел его в Шантаре в конце прошлой зимы и весной, но Иван Савельев ни словом, ни жестом не показал, что обижен. И отец ничего не сказал ему по поводу статьи, будто и не читал ее.

Нынешней весной, разъезжая по району, Василий заглянул и в Михайловку. Савельева в деревне не было, в конторе сидел один отец, согнувшись над какими-то бумагами.

— А-а, сынок, здравствуй. Редковато отца навещаешь.

— Да все дела, папа...

— Дела — это хорошо. Не может человек без дел.

Поговорили о том о сем. На осторожный вопрос о статье отец, помолчав, отозвался нехотя:

— Иван Силантьевич то ли еще переживал...

— Но почему, папа, ваша партийная организация не реагировала на выступление газеты?

— Зачем же? Реагировала...

— Паров-то как запланировали тысячу чetyреста гектаров, так и оставили.

— А как же... Или ты хочешь, чтобы мы под корень сами себя срубили? Все наше хозяйство только на животноводстве да на озимой ржи стоит. Пшеничка на наших землях не шибко растет. Год уродит — два погодит. А рожь дает постоянный и устойчивый урожай. Только сеять ее надо по чистому пару. И не позже первого сентября. Вот и думай... А газета что? Газета не шутка. То есть шутить нельзя в газетах-то...

Василий сидел тогда перед отцом как оглушенный.

— Но погоди... Это что же, вся область себя под корень рубит? Ведь всюду чистые пары ликвидируются...

— Вся не вся, а добрая треть колхозов и совхозов пострадает, если... если председатели и директора в них такие же исполнительные, как Малыгин.

— Не понимаю...

Отец глядел на него холодно, с открытой неприязнью.

— Крестьянское дело, сын, не простое... Область наша большая, целое государство. Южная часть увлажненная. Там можно и поджечь при надобности чистые пары, хотя совсем ликвидировать их вряд ли следует. В центральных районах тоже влаги хватает. На востоке уже посуше. А мы на самом севере приткнулись, у нас совсем сухо. Потому и плохо растет пшеничка тут... — Отец сделал паузу и добавил с невеселой иронией: — Разве вот у нашего соседа Малыгина вырастет.

Василий немножко помолчал и спросил:

— Ну, хорошо... Но Полипов-то сельское хозяйство знает хорошо. Он ведь старый партийный работник...

— Именно что старый. С Полиповым — дело особое. В области сокращают пары — разве он будет в стороне? Ему тоже свое место в сводке нужно, как... — отец на секунду-другую запнулся, ища дальнейших слов, — ...как губернатору в церкви.

От такого сравнения Василий даже растерялся. А отец продолжал:

— Трудные наши земли, Василий... Климат еще труднее. Если бы не такие хозяева, как Савельев, давно голодали бы. Таких людей беречь надо, а ты его — статьей по голове. Так недолго и намертво свалить, если бить раз за разом.

— Но почему же, папа, ты мне сразу всего этого не объяснил?

— Сразу? А ты сразу-то понял бы? Ты, кажется, Полипову в рот смотришь, веришь ему во всем...

— Да, папа, — сказал честно Василий. — Мне казалось... да и кажется...

— Ну вот, — усмехнулся отец. — Что же тебе объяснять было? Ты сам убедись в его неправоте... Сам понюхай жизни, чтоб понять ее.

«Сам понюхай жизни...», «статьей по голове...» Слова-то какие! Но это были слова отца, которому он не мог не верить и который зря бы говорить их не стал. Они гудели в голове у Василия всю нынешнюю весну и все лето. А он-то до этой весны думал, что статья хорошая, правильная, принципиальная. И, подъезжая сегодня к Михайловке, вспомнил, что именно так — «правильное, принципиальное выступление!» — сказал Полипов после выхода того номера газеты. Сказал и добавил: «Не ошибся я в тебе. Нащупываешь самый стренжень в работе, Василий Поликарпович».

Что же, Кружилину это было слышать приятно. Беседуя с ним перед заступлением на редакторский пост, секретарь райкома говорил, расхаживая по кабинету: «Газетная работа —

не маменькин пуговичок, как и всякая партийная работа. Главное в ней — почувствовать политический стрежень. Идти прямо по нему... Ну, добро. Будут какие трудности, сомнения — приходи ко мне запросто. Общими усилиями поможем, поправим, когда надо, по-товарищески... Не обижаешься, что я на «ты» с тобой сразу? Ну и добро. И тебя прошу без всякого «выканья». Люблю простоту в отношениях». Полипов крепко пожал на прощание руку, проводил до дверей. «Присматривайся к стилю и сути работы райкома партии. Окрепнешь, покажешь себя на деле — обязательно изберем членом бюро».

И вот теперь отец: «Статьей по голове...», «намертво свалить...» Подъехав к конторе, Василий Кружилин еще в окно увидел, что председатель колхоза и отец там. Он обнялся с отцом, поздоровался с Савельевым, сказал:

— Видел я — вы эти злополучные тысячу четыреста гектаров рожью уже засеяли.

— Для кого злополучные, а для нас... — начал было Савельев хмуро, но Василий перебил его:

— Иван Силантьевич! У меня достанет мужества публично извиниться перед тобой и перед всеми колхозниками, если статья действительно неправильная. Извиниться прямо в газете. Но давайте говорить спокойнее...

— Ну... давайте, — усмехнулся Иван. Встал из-за стола, прошел в противоположный конец небольшого своего кабинета, сел на деревянный скрипучий диванчик. — Давай.

— Что ж, все беды в сельском хозяйстве от сводок этих проистекают, в которых многим... таким, как Полипов, свое место нужно?

Савельев с минуту не отвечал, разглядывал зачем-то свой протез.

— Да нет, конечно, — проговорил он задумчиво. — Сводки, учеты всякие — как же без них? Просто не научились мы покуда хозяйствовать как следует на земле, вот что... Почему не научились, не знаю. Не той грамоты я, чтоб все объяснить. А за колхоз свой могу сказать. Попросту, извини уж, если не все гладко будет... Живет колхоз, правда, получше других, да разве так мы жили бы, кабы дали свободу действовать? Эх! Да вот не дают!.. Земля-кормилица, она не оскудеет, черпай и черпай, только умеючи! А мы не умеем.

— Что значит не умеем? И что значит не дают?

— А то и значит — не дают, потому что не умеем, — нахмурился Иван.

— погоди, я объясню тебе попроще, — сказал отец. — За эти тысячу четыреста гектаров Ивану Силантьевичу набили уже шишек. И ты тут постарался, сынок. И еще набьют, но он чистые пары сохранил, хоть, может, и не столько, сколько надо бы. Малыгин же искоренит их совсем, разорит совхоз, зато два-три

года в передовиках походит. Как же — враг чистых паров, борец за передовую агротехнику! Да еще, не дай бог, дождички ударят!

— При чем тут дождички?

— А при том... Места у нас засушливые, — и председатель показал зачем-то за окно. — Но ты сам знаешь, что раз в пять-шесть лет разверзаются хляби небесные. Климат, черт бы его побрал! Как найдет этот год — целую зиму снег валит и валит, точно из прорвы, а летом дожди хлещут. Случись нынче такое — все газеты закричат: вон сколько влаги, правильно вопрос о чистых парах ставится, молодцы Малыгины, позор Савельевым? А что дальше? Это, во-первых, не влага, а вода. А во-вторых, следующее пятилетие, как закон, засушливое. Ржи не посеем — что, извиняюсь, жрать будем? Так вот, спрашиваю: умеем или не умеем хозяйствовать?

Василий промолчал.

— Или вот еще пример. Сейчас Рязанская область гремит — за год чуть не вчетверо увеличили там животноводство, государству мяса сдают три годовых плана. Так?

Поликарп Кружилин поднял голову, поглядел на сына исподлобья, спросил:

— Чего же ты молчишь — так или не так?

Василий только пожал плечами. По совести, он недоверчиво относился к газетной шумихе, поднятой вокруг Рязанской области, но сказать об этом не решился.

— А как вы сами относитесь к планам и достижениям рязанцев? — глупо спросил он. Что вопрос глупый, Василий почувствовал сразу же. Он еще не договорил, а отец уже печально качнул головой. Отвернувшись, глухо сказал, назвав его по имени и отчеству:

— Нет, Василий Поликарпович, не хватит, кажется, у тебя мужества извиниться перед ним... да еще в газете... Пойдем, что ли, ко мне домой, чайку попьем.

Василий безмолвно сидел перед ними, перед своим отцом и председателем колхоза, будто не ответивший простенького урока школьник перед учителями. Он не знал, как выйти из неловкого положения, в которое попал из-за своего вопроса.

— Видите ли...

Но Савельев пожалел его и заговорил сам:

— Видишь ли, — повторил он его слова, — к ихним планам мы, в конкретности я, относимся и так и сяк... Я там не был, тамошних условий и положения не знаю... Может быть, надо им в ноги кланяться, если... если научились так хозяйствовать. Но ведь погляди, что получается... Наша область тоже нынче взяла два годовых плана по мясу. План разверстали по районам, районы — по колхозам и совхозам. И теперь нас заставляют сдать три годовых плана. Три! У вас, говорят, животноводство сильное, кому, как не «Красному партизану»,

пример показать! Ты понимаешь, Василий Поликарпович, что это значит? Где у нас такие возможности? За область опять же не знаю, а нам тот план — гроб с крышкой. Коров, что ли, вырубать? — Голос Савельева все креп, наливаясь злостью. — Можно, конечно, и коров... Можно весь молодняк на мясокомбинат отправить. Таким-то образом можно пять планов выполнить в один год, можно и шесть. А потом по миру идти? Это как, умеем или не умеем хозяйствовать?

— Насколько я знаю, вы не соглашаетесь пока даже и на два плана, — сказал Василий.

— Он не соглашается, а ему выговор! — резко проговорил отец. — Станет еще сопротивляться — Полипов пригрозит партбилет отнять. Бывали такие случаи, сам знаешь.

— Вот и выходит, что не дают воли, не дают развернуться, — сказал Савельев ровным, немного усталым голосом. — Не знаю, сколько с нас мяса нынче возьмут... Ежели в самом деле три годовых плана — на шесть лет вперед животноводство наше обескровят. А за эти шесть лет мы бы не шесть, а около десятка нынешних планов дали государству, ежели бы все нормально, по-хозяйски шло. А так на этих трех и засохнем. Вот и считай... Умеешь считать?

— Но, папа... Иван Силантьевич! Вот бы Полипову и предложить так посчитать.

— А думаешь, не было предложено? — обернулся отец.

— Ну и что?

— Э-эх! — Савельев махнул рукой. — Во всех этих мыслях у меня, может, не все правильно. Но ведь я попросту рассуждаю: работал я год, работал, получил на трудодни столько-то. С месячишко-то я как бы мог погулять-попировать — сам себе купец, да и только. Но ведь я помню: целый год впереди, его тоже надо мне жить с семьей. А Полипов что? Он навроде вот такого купца!

Василий пожал плечами.

— Смелые ты все-таки, Иван Силантьевич, выводы выводил...

Савельев устало вздохнул, вытер широкой ладонью лоб.

— Ладно... Поживем — увидим.

— Но мы с Иваном не выложим ему на стол все наше животноводство, — добавил отец. — Пусть хоть... Да ладно, хватит. Нечевать у меня будешь?

Этой теплой сентябрьской ночью, когда Василий Кружилин ночевал у отца в Михайловке, из охотничьего ружья застрелился Максим Назаров. Выстрел грянул на рассвете, переполошив сонных еще деревенских петухов и кур, эхо его раскатилось по утихшей с вечера деревне, подняло людей. Застрелился он в дощатом пустом сенике, куда отец и сын ушли еще

с вечера. Максим, бывший бригадир штрафной роты Бухенвальда, сначала снял сапог с правой ноги, помотал ею, сбрасывая портянку, ружье поставил на землю, склонился над ним, конец ствола сунул в рот, пальцем ноги прижал спусковой крючок.

...Получив от Максима письмо из тюрьмы, Назаров тут же запряг мерина и погнал его в Шантару.

— Ну, ты мне тут плел про Максима — растерялись, мол, в каком-то бою... А это? — И он показал Василию письмо. — Рассказывай все! Всю страшную правду!

Делать Василию было нечего.

Вернувшись домой, Назаров долго столбом стоял среди комнаты, будто что вспоминая. Затем, волоча ноги, прошел в угол, где висела крохотная иконка, висела просто так, по обычаю, как висят они во многих деревенских домах где давным-давно нет никаких верующих. Панкрат долго смотрел на эту потемневшую иконку, на которой Георгий Победоносец непомерно длинным и тонким копьём поражал Змия, поднял руку и медленно перекрестился...

На кровати, заходясь в рыданиях, лежала старая жена Панкрата, Екатерина Ефимовна. Он шагнул к ней, сел на кровать, положил руку на дергающееся плечо жены.

— Ничего, мать... Сколь отмеряно — поживем еще на родимой землице. Будем жить и ждать...

— Господи! Да чего же теперь ждать?! — воскликнула она.

— А не объявится ли он, хриstopродавец. Я в глаза его гляну, а тогда уж и помирать буду...

Он, говоря это, смотрел на жену, но не видел ее...

Так он, Панкрат Григорьевич Назаров, и прожил эти годы, никого не видя будто. Нет, он людей не сторонился, был всегда среди них, работал. Сперва заведовал конюшней, после — кладовщиком. Во время уборок хозяйствовал на токах, а когда силы стали совсем уходить, попросился у Ивана Савельева дневным сторожем на колхозные огороды. Но никогда, ни при каких обстоятельствах его обычно плотно сомкнутые губы не трогала даже тень улыбки, он забыл, что это такое, и при встречах с людьми, при любом разговоре с кем бы то ни было в замерзших его глазах никогда ничего не отражалось.

Лишь неделю назад, когда объявился Максим, в глазах его на секунду взметнулся живой огонек и тут же растаял.

Был поздний вечер. Максим, видимо, специально выбрал такое время, чтобы проскользнуть к своему дому незамеченным, во мраке.

— Отец! — воскликнул он, войдя в дом, и упал к его ногам. Был Максим тощ, давно не брит, одет в старенький ватник и растоптанные

сапоги, в руках у него была грязная, как у странника, котомка. Когда он упал к ногам Панкрата Григорьевича, котомка эта откатилась на середину избы.

— Дождался я тебя, сынок, — проговорил Назаров, глядя в заросший затылок сына. — Ну встань, я тебе в глаза погляжу. Затылок-то вижу.

Максим поднялся. Глянул в отцовские мертвые глаза, сделал несколько шагов назад.

— А Васька Кружилин вернулся, — проговорил Панкрат.

— Васька?! — простонал Максим. — Да откуда же?! Сбежал все-таки, сумел?

— А спроси у него. Редактором газеты в Шантаре работает.

Отец сидел на низенькой кровати, за его спиной на стенке, закрытой самодельным ковриком, висело охотничье ружье.

Максим некоторое время постоял, окаменевший, увидел свою котомку, поднял ее, положил на стул.

— Ну что ж, отец, — вздохнул он. — А я вот не смог вынести, отец... В аду, наверное, легче. За то — отсидел, тюрьмой искупил. По амнистии вот вышел. Ну, как вы тут? Мать где?

— На том свете, сынок. Туда она и перебралась. Узнала о тебе и, как свечка, стаяла... А я вот тебя дождался.

Максим сел за стол, поставил на него локти, зажал ладонями голову, сидел так долго-долго, погруженный в тяжкую думу. Отец его не тревожил, а, когда тот пошевелился, сказал:

— А ты еще подумай, сынок.

— Отец! Неужели... не будет мне прощения?

— А это надо у людей спросить, как они, — и Назаров кивнул в сторону. — Ступай спроси. Простите, мол, или нет, что над людьми я изгаллялся, что в своих стрелял?

Пятеро суток Максим Назаров не решался выйти на улицу, жили они молчком. Панкрат рано утром уходил на работу, оставляя ружье на своем месте, поздно вечером возвращался и ложился спать. К его приходу Максим готовил какую-нибудь еду, но отец никогда к ней не притрагивался. На шестые сутки Максим не выдержал, вышел на улицу, спросил у какой-то женщины, где находится контора, зашагал к ней.

Встречные люди, которых он не узнавал, останавливались и долго провожали его взглядом — и взрослые останавливались и дети. Смотрели на него из-за плетней и огорож, попадали к окнам, выбегали из домов. Все оказывается, знали, что он вернулся, весть, что он идет по улице, мгновенно разнеслась по Михайловке. И вот глядели на него кто как — удивленно, изумленно, брезгливо, а некоторые, больше старухи, — и с жалостью. Но эти жалостливые взгляды почему-то обжигали его сильнее всего.

И в конторе, едва он туда зашел, все побросали работу, уставились на него.

— Председателя бы мне...

— Да вон, у себя покуда, — сказал кто-то.

Иван Савельев, знакомый с детства, превратился почти в старика, стал чужим. Он поднял от стола голову и протянул:

— А-а... Ну, слушаю.

В кабинет на коляске вкатился безногий, и Максим догадался, что это Кирьян Инютин. У стола председателя он быстро сполз со своей каталки, поставил ее ребром, одной рукой оперся об нее, а другой за угол стола и ловко забросил обрубок своего тела на стоящий у стола табурет.

Иван Савельев не поздоровался, и Кирьян Инютин тоже, это Максим Назаров отметил, оба они теперь смотрели на него и ждали, что он скажет.

— Ну, так что скажешь? — опять спросил Савельев сухо. Без злости, без усмешки, просто — сухо.

Усмехнулся тяжело и горько и сам Максим.

— Не знаю. Обо мне вы все... надо полагать, знаете...

— Наслышаны.

— И как мне дальше... существовать?

Кирьян Инютин из сумки, висящей у него на шее, достал какие-то бумаги, уткнулся в них и произнес, будто прочитал написанное там:

— Уезжай-ка ты, Максим Панкратович, подалее куда от нас, потому что как ты здесь существовать будешь?

— Да, это верно...

Максим повернулся и вышел, побрел из деревни.

До вечера он сидел на берегу Громотухи. Теплая еще пол-летнему, она плескалась равнодушно у ног, катила вдоль к молчаливым скалам Звенигоры свои вечные волны. В детстве он не раз купался здесь, река была веселой, вся в солнечных искрах, а теперь, хотя день стоял погожий, светлые блики почему-то не играли.

Он сидел и сидел, то роняя голову на колени, то приподнимая ее тяжело. Несильный ветер раздувал его грязные волосы — отец помыться ему не предложил, и сам он как-то не решился самовольно топить баню.

Когда стемнело, он опять, тайком, как вор, прошел по Михайловке.

Отец был дома. Как и шесть дней назад, он сидел на низенькой кровати, смотрел перед собой пустым взглядом, за его спиной висело охотничье ружье.

— Поговорил... с председателем, — усмехнулся Максим. — Что и делать — не знаю. Уезжай ты, говорит.

— Не-ет, нельзя, — вымолвил вдруг Назаров. — Куда уедешь?..

— Верно, некуда, — тоскливо сказал Максим.

Они еще помолчали, может, час, а может, и больше. За окном раздалась какие-то голова, Максим встрепенулся даже — неужели к ним кто-то идет? Неделя как он здесь, и за все время никто даже из любопытства не зашел сюда, в этот дом.

— Не бойся... Это Васька Кружилин с отцом идут домой.

Максим невольно дернулся и вскочил.

— Ага, — кивнул Панкрат. — Василий приехал из Шантары к вечеру уж, об чем-то говорил в конторе с председателем и отцом допоздна, а сейчас спать пошли. Может, ты у Васьки-то еще и спросишь, что тебе делать? Сходи.

— Т-ты... перестань! — взмолился Максим, задышал тяжело и часто, по лбу и вискам у него проступали капли холодного пота. — Прекрати... Я знаю, отец, это ружье... для меня висит!

— Для тебя, — спокойно подтвердил Панкрат. — Я давно для тебя его повесил, как все узнал. Заряд хороший заложил...

— Я все это понял... Чутьем.

— А какое тут чутье надобно? — усмехнулся Панкрат.

— Но я... н-не могу! — голос Максима рвался, пот еще обильнее покатился по грязным щекам. — Не-не могу... Я лучше уйду! С концом, бесследно...

— Бесследно... И уйдешь! Уйде-ешь! Марш в сенник! Поганить дом не хочу! В нем мы прожили с матерью. Тут обмывали ее. Куда-а пятишься, там сенник, забыл?

Он пошел за сыном в сенник, и там, в темноте, Максим упал на землю, обхватил ноги отца, завыл уже действительно, как щенок:

— Прости! Хоть ты — прости... Я сын твой, сын...

— Вста-ань, ты...

Максим, повизгивая, поднялся, мокрый и горячий. Не было еще и полуночи, глаза его в лунном свете, лившемся в открытую дверь, блестели жалко и просяще.

Панкрат Назаров сгорбившись, вышел из сенника.

...Выстрел прогремел только на рассвете.

По русскому обычаю покойников хоронят не раньше чем через два дня на третий. Панкрат зарыл сына в этот же день. Именно зарыл, он так и сказал сбежавшимся на выстрел:

— К полдню зарыть надо... — Обвел собравшихся колхозников своим тусклым взглядом, остановил его на Владимире Савельеве. — Ты, Володьша, попроси кого еще, да выкопайте ямку где-нибудь. На погосте не надо, нечего поганить... Где-нибудь в сторонке выройте, в волчьем овраге вон...

— Ладно, — сказал Владимир. Рядом стояла его жена Антонина, брюхатая уже в четвертый раз. Зажав рот, чтобы не закричать, глядела дико на маленькое скрюченное тело, валившееся на земляном полу сенника, а другой рукой держалась за плечо мужа.

Среди других сбежавшихся в сенник Назарова были и Анна, и Анфиса, и председатель колхоза Иван Савельев. Никто ничего не говорил, стояли все суровые и молчаливые. Позже других подошел Кружилин с сыном, перед Василием люди расступились, пропуская его к труп. Василий глянул, губы его тронула странная какая-то усмешка, руку, искусанную в Ламсдорфе овчарками, он засунул глубоко в карман. Потом он среди общей тишины произнес негромко:

— На воротах немецкого концлагеря, где мы сидели с ним, было написано: «Каждому свое». Железными буквами...

Он проговорил это, и опять установилось гнетущее всех безмолвие, пока не всхлипнула вдруг Анна. Она тут же придушила этот свой всхлип платком, нагнула голову, пошла, побежала из сенника. Перед ней тоже расступились, как перед Василием, по этому проходу за Анной кинулась Анфиса, догнала ее уже за подворьем Назарова, пошла рядом, говоря:

— Чего ты, Анна? Будет... Пушай... Каждому свое, это всегда так. Черт с ним, с собакой.

Говоря так, неумело успокаивая Анну, никакого имени Анфиса не назвала.

Когда взошло солнце, Панкрат Назаров начал из неоструганных досок сколачивать гроб. Стук его молотка разносился по всей деревне.

— Обмыть, что ли, хоть, — сказала сердобольная Дашутка, дочь Ивана, которой отец приказал быть безотлучно при Панкрате.

— Обойдется, — сказал Назаров угрюмо.

С помощью объявившегося к обеду в Михайловке Николая Инютина и Даши он положил в гроб сына, бросил туда же ватник, в котором он пришел к нему, и его рваную котомку, намертво заколотил гвоздями крышку.

Перед тем как сколачивать гроб, он попросил всех, кроме Даши и Николая Инютина, со двора его уйти, а теперь и их, чтобы они не вздумали идти за гробом, отправил прочь. Он проявлял строгость до конца, все это понимали. И потому улица, когда Панкрат вез по ней гроб, была нелюдимой и пустынной, навстречу не попало ни одного человека.

Возле готовой могилы сидел Владимир Савельев и курил. Затем подошли Николай с Дашей. Они четвером сняли гроб, опустили его в могилу. Инютин и Савельев принялись ее зарывать, а Даша и сам Назаров молча стояли и глядели на это.

Когда все было кончено, Назаров велел отвести лошадь на конюшню, всем уйти, а его оставить здесь одного.

— Чего вам здесь, Панкрат Григорьевич? — сказала Даша. — Идемте...

— Ступайте, сказал! — резко бросил Панкрат. — Чего меня сторожить? Сторожи не сторожи — помру. Пузырьки твои... вон, в сумке-то, не вижу, что ль... не помогут уж.

Проговорив это, он подождал, пока Владимир Савельев тронул лошадь, и опустился на землю.

— Дядя Панкрат?! — умоляюще попросила Даша. — Встаньте, земля холодная. Нельзя вам.

— Нельзя, — проговорил Панкрат согласно, и в голосе его не было уже ни злости, ни упрямства. — А вы женитесь, ребятки, а? Вот Володька-то, а? Молоток, опять бабу забрюхатил. Пуцай люди рождаются...

Слова его были неожиданны здесь, в этом месте и в это время.

— Да что вы, дядя Панкрат, — сказала Даша, покраснев.

— Ничего... Да отойдите вы хоть в сторону. Он все же... сыном мне был. Посижу с ним. Вы не мешайте. Недолго я...

Подчиняясь ему, Николай и Даша отошли за кустарники, росшие по оврагу. День разгорался светлый и теплый. Николай снял пиджак, бросил на землю, и они сели на него.

Николай шел тридцать первый год, а она была юная, потому слова Назарова смутили Дашу, румянец еще горел на ее полных щеках, делая ее еще моложе. Друг на друга они не смотрели.

— Даша, — неожиданно проговорил Николай. — И правда, давай поженимся.

— Ты... что?! — приглушенно вскрикнула она, отшатнулась было, но он удержал ее за руку. Румянец ее заполыхал еще гуще, она испуганно и торопливо глянула на видневшуюся сквозь кусты сгорбленную спину Назарова, пытаясь высвободить подрагивающую руку. Но Николай ее не отпускал, она покорилась этому, опустила глаза в землю.

— Я и приехал, Даша, чтоб спросить это. У тебя и у отца... А тут...

Он все держал её за руку. Она с трудом подняла на него глаза, такие же черные, как у матери, и так же обещавшие верность и преданность в любых испытаниях.

— Ох, Коля, Коля... — выдохнула она и ткнулась горячим лицом ему в колени.

Нелегкий разговор накануне смерти Максима Назарова с председателем колхоза и с отцом много дал Василию Кружилину, заставил его думать, размышлять, сопоставлять, по-другому взглянуть на председателя «Красного партизана», да и на отца. И как-то, уже глубокой осенью, он зашел в кабинет Полипова и сказал:

— Петр Петрович, я хотел насчет статьи о Савельеве поговорить. Помнишь, по поводу паров?

— Ну, ну, — глуховато промолвил Полипов и чуть заметно пошевелил бровями. — Как они там, после самоубийства этого... мерзавца?

Известие о самоубийстве Максима Назарова Полипов встретил несколько странно, как показалось Василию. Когда он, вернувшись из Михайловки, стал рассказывать подробности, Полипов будто долго не мог понять, о чем идет речь, хотя отец буквально через несколько минут после выстрела сообщил об этом в райком. Потом на лице его проявилась какая-то кисло-жалкая усмешка, губы выгнулись скобкой вниз, уши загорелись. «Ужасно, ужасно... Подумать только, что бывает, — проговорил он силпо, отворачиваясь. Но, когда вновь повернулся к Василию, на лице не было этой кислой усмешки, оно было жестким, холодным, и он проговорил пустым, без всяких эмоций голосом непонятное: — Впрочем, что удивляться? Сам Назаров сюрпризы постоянно подносил, и вот сын... Твой отец лишь очень ценил его». — «Кого?» — не понял тогда Василий, но Полипов ничего объяснить больше не стал.

— Как они там — не знаю, — ответил сейчас Василий. — Живут, чего же...

— Ну, так что ты насчет этой статьи?

— Я вот беседовал недавно с Иваном Савельевым... и с секретарем парторганизации колхоза. — Отца по фамилии он не назвал. — И мне показалось, что их доводы...

— Так, ясно! — перебил Полипов. — Их «доводы», — секретарь райкома по-особому, враждебно произнес это слово, — я знаю.

Полипов по привычке вышел из-за стола, прошелся по кабинету. И вдруг неожиданно:

— Ну, а доводы партии?

Василий Кружилин сразу не нашелся, что ответить. Да Полипов ему и не дал отвечать.

— По-твоему, правы Савельев с твоим отцом, а не мы... Не райком партии? Как же так, Василий Поликарпович? Ты вроде производил на меня впечатление более... более зрелого человека. И вот те на... Ты, кажется, совсем зеленый. — Полипов развел руками, вздохнул.

И хотя, это: «Вот те на... Ты, кажется, совсем зеленый» — было произнесено мягким, даже участливым тоном, Кружилину стало не по себе. Полипов заметил это.

— Ну, чего скис?

— Ты что же, привык себе работников выбирать, как арбузы на рынке?

— То есть? — не понял Полипов.

— Тогда надо было постучать пальцем об мой лоб. Опытный арбузник, говорят, сразу определяет зрелость.

— Послушай! — начал багроветь Полипов.

— Я никогда и нигде не утверждал и не буду утверждать, что я «зрелый». Особенно

сейчас. Сельское хозяйство знаю пока плохо. Когда писал статью о Савельеве, казалось, что я прав. А сейчас возникли сомнения. Вот и пришел посоветоваться. Ты сам просил когда-то...

— Я тебе и разъясню: партия...

— При чем тут партия?

— Что?! Что?! — Полипов замер на две три секунды, словно бы окаменев в недоумении.

— Тут конкретный производственный вопрос, который можно с пользой решить только в том случае, если учесть все местные условия. Этого, кстати, и партия настойчиво добивается.

— Та-ак, — сказал Полипов и прочно уселся за свой стол. — А мы, значит, не учитываем эти местные условия?

— Мне кажется, не учитываем.

Полипов сидел неподвижно.

Зазвонил телефон. Он звонил долго, но Полипов так и не взял трубку.

— Та-ак, — снова произнес он наконец. — Не очень-то... как бы тебе сказать, чтобы снова не обиделся... Не очень гладко начинаешь свою редакторскую деятельность.

— При чем здесь, Петр Петрович, гладко — не гладко?

— Нет уж, ты подожди, не перебивай! — И Полипов негромко прихлопнул по столу ладонью. — Учись слушать старших товарищей. И по возрасту, и по партийному опыту. А то мы с тобой вообще ни о чем не договоримся. Вот что я скажу тебе, Василий Поликарпович. Ты не только сельское хозяйство, но и партийную работу плохо знаешь... И, как я сейчас убедился, недостаточно отчетливо понимаешь линию партии в сельском хозяйстве. Именно — недостаточно отчетливо! — повысил голос Полипов. — Пусть тебя никакие формулировки не коробят. Мы тут дело делаем, нам некогда выбирать мягкие выраженьица. И ты не красная девица...

Опять зазвонил телефон. Полипов раздраженно приподнял трубку и бросил ее на рычаги.

— А в этом конкретном вопросе главный стержень в чем? Вот посмотришь, не сладко будет жить Савельеву с Кружилиным. А Малыгина будем поддерживать. Я, область — все. А ты прислушивайся, приглядывайся, что будет происходить. И размышляй, делай выводы. Словом, учись.

— Насчет Савельева и Малыгина мне уже предсказывали. Только разъяснили все с несколько другой стороны.

— Что разъяснили?

— А почему оно так произойдет с ними.

— Туманно выражаешься, — пожал плечами Полипов, так и не поняв, а скорее всего сделав вид, что не понял, о чем говорит редактор газеты. — Ну, все, Василий Поликарпович. И мой дружеский совет тебе — только пойми его правильно — не высказывай опрометчиво

своих мнений, пока не изучишь сути дела, не поймешь самой сердцевины.

— Это как понять?

Полипов глянул на левую покалеченную руку Василия, в которой он держал папиросу, и тут же мгновенно отвел глаза.

— Я и говорю — правильно только пойми. Ты ведь свою жизнь, по сути дела, только начинаешь. До этого она у тебя была... Ужасно подумать, какой она у тебя была.

Тяжелое, гнетущее чувство осталось у Василия Кружилина после этого разговора с Полиповым. «Да что же это за человек? — раздумывал он. — И еще, кажется, пугает? Ты свою жизнь, сказал он, только начинаешь, а до этого она была у тебя ужасной... Это что же он, на годы немецкого плена, что ли, намекает? Ну, здесь ты, Петр Петрович, не на того попал! Я и охранников с их собаками, эсэсовцев не боялся, смерти своей никогда не страшился, а здесь ты хочешь меня запугать?»

А жизнь меж тем шла, и шла она в Шантарском районе именно так, как предсказывали Василию отец с Иваном Силантьевичем Савельевым, да и сам Полипов. Отца и Савельева за чистые пары, которых они и на будущий год оставили достаточно, разносили в пух и прах на всех пленумах, сессиях и всяких районных совещаниях, директора же совхоза «Первомайский» ставили в пример. На всю область прогремел Малыгин, и за обязательство дать два с половиной годовых плана по мясу в областной газете был даже напечатан его портрет. Иван Савельев же и отец, как ни ломал их Полипов, не обещали даже полутора.

— Что запланировано, то дадим государству, — говорил Савельев одно и то же. Это же повторил и на бюро райкома, куда его и Кружилина в конце концов вызвал Полипов. — План и так у нас немалый. С чего же я увеличу его вдвое? Денег, чтоб на стороне коров да овец покупать, у нас нету. На что покупать-то? Ну, одну овечку я куплю на свои. Кружилин — другую. Это — запиши, если надо.

— Издеваешься, значит, еще?! — не выдержал Полипов. И зловеще заговорил: — Ну, глядите, деятели! Этак доиграетесь... Предлагаю Савельеву объявить выговор. Кружилин тоже заслуживает самого строгого наказания, но... как-то неудобно. Ты же, Поликарп Матвеевич, бывший секретарь райкома! На моем месте сидел. Не ожидал, не ожидал от тебя...

Полипов произнес это и посмотрел в сторону Василия. Как редактор он присутствовал на многих заседаниях бюро райкома. Иногда его приглашал сам Полипов: «Приходи, полезно попридти». «Приходи, полезно поучиться сути партийной работы», — переводил его слова Василий.

Члены бюро покорно единогласно проголосовали за предложение Полипова.

«Эти главный стержень видят», — почему-то с горечью подумал Василий.

Выходя из райкома, он услышал, как отец проговорил, нехорошо усмехаясь:

— Вроде новый метод в партийном руководстве — «разделяй и властвуй».

«Пожалуй, верно», — подумал Василий.

А весной следующего, 1958 года, произошел такой случай.

Иван Савельев решил потеснить немного пшеницу и побольше посеять кукурузы на силос. В колхозе выделили для этого хорошее поле, отлично прогреваемое солнцем, обильно удобрили почву. И хотя с некоторых пор посевы кукурузы в стране поощрялись даже в Сибири, Полипов категорически воспретил самовольничать.

Напрасно Савельев и секретарь парторганизации, специально приехав в Шантару, доказывали, что в колхозе большое животноводство, что у них из года в год не хватает кормов, что колхозы сами давно имеют право на планирование, что недавний Пленум ЦК указал на пересмотр структуры посевных площадей как на один из важнейших резервов, что пшеница в их хозяйстве самая малоурожайная культура... Все эти доводы разбились, как стеклянная бутылка о каменную стену, об один-единственный аргумент Полипова:

— «Красный партизан» не последнее зерновое хозяйство района. У нас большой план продажи хлеба государству. Так вы что же, хотите район подвести?

— Район мы, Петр Петрович, не собираемся подводить, — уже, наверное, в пятый раз повторял Савельев. — Но учтите наше положение: у нас большое животноводческое хозяйство... К тому же кукурузу сейчас рекомендуют...

Полипов негромко хлопнул по столу ладонью.

И Василий, случайно присутствовавший при этом разговоре, увидел, как Савельев сник.

Что ж, Василий уже знал, что значит такой хлопок.

А Полипов, качнув коротко стриженной головой с крутым, без единой морщинки, лбом, проговорил, по своему обыкновению тихонько барабанив пальцами по зеленому сукну:

— Простите, пожалуйста... — Затем улыбка с его лица исчезла, оно стало ровным, как доска, непроницаемым. На нем так и не проступило ни одной властной черты. В голосе тоже не было слышно металла, хотя Полипов продолжал: — ...но спекулировать партийными решениями мы никому не позволим. Мы не меньше вас разбираемся в этих решениях, не меньше понимаем роль кукурузы... Но мы видим и понимаем еще общую и дальновидную

стратегию партии по развитию и укреплению сельского хозяйства, по созданию избытка продуктов питания для народа. И ты, Поликарп Матвеевич, уж должен бы понимать это и объяснить своему председателю... Вы тайгу в прошлом году начали корчевать — отлично! Поддерживаю. Сейте на этой земле кукурузу. А существующие площади под пшеницей не позволим сокращать. Вы и так поклонники ржи.

И здесь-то не выдержал отец.

— А интересно — кто хозяин нашей земли, вы или все же мы?

Может быть, подобных вопросов Полипову никто никогда не задавал, потому что он на мгновение даже перестал стучать пальцами по столу.

— Позвольте... Вы понимаете, что говорите? И где?

— Кукурузу мы на том поле посеем, и все, — взмахнув рукой, отрубил отец.

Полипов секунду-другую смотрел на него, потом перевел взгляд на Савельева.

— Да, будем сеять, — ответил председатель на этот безмолвный вопрос. — Не можем мы иначе...

— Вот как... — сухо уронил Полипов и повернулся к Василию. — Видал?! — И снова отцу: — Мы не простим такого... такой партизанщины даже тебе, уважаемый Поликарп Матвеевич. А товарищу Савельеву это грозит...

— Чем мне это грозит, интересно? — воскликнул Савельев вставая. — Чем грозит? Ничем мне это не грозит. Мне ни чинов, ни портфелей не надо. Вот этими руками привык всякую работу делать. Вырос на земле, умру на земле, как Панкрат Назаров...

Панкрат Григорьевич скончался недели через две после самоубийства сына. За эти две недели он никому не сказал и полслова, в деревне почти и не жил, целыми днями или сидел возле пригреваемой солнцем соломенной стены балагана на колхозном огороде, с которого убирала последние овощи, или, опираясь на костыль, ходил вокруг деревни, молчаливо и неслышно. Иногда он где-нибудь останавливался, недвижно стоял час-другой, то глядя в землю, себе под ноги, то бросая взгляды окрест. Постояв так, опять трогался с места, уходил иногда далеко, под самую Звенигору.

Иван Савельев строго-настрого приказал дочери и врачу медпункта по-прежнему не упускать Назарова из вида, а колхозным ребятишкам — попеременно следовать за ним, куда бы тот ни пошел. Школьники установили за ним дежурство. И однажды младший из детей Инютиных, десятилетний Кешка, пулей влетел в деревню:

— Скорее! Дядь Панкрат помирает! Там, под Звенигорой. Шурка там с ним наш.

Когда Иван Савельев и Поликарп Кружилин подъехали на ходке, которым правил Кешка, к Панкрату, тот был уже мертв. Он лежал на лугу близ Громотухи, лицом вниз, лежал, раскинув руки, точно хотел обнять всю землю. Возле него сидел брат Кешки, тринадцатилетний Александр. Он и рассказал о последних минутах жизни Назарова: «Шел он и шел, а мы следом... Он нас всегда видел и не оборачивался никогда. Гляжу, он припал к земле. Я Кешку мигом за вами, а сам к нему. «Дядя Панкрат!» — кричу. А он меня уж не видит и не слышит. Бормочет чего-то... «Что он бормочет? — спросил Иван. — Все до слова скажи!» — «Да я не разобрал всего-то... И не понять было. Разное он... Прости, говорит, меня, матушка... Какая, думаю, матушка? Потом догадался — про землю это он так. Может, говорит, и мало чего я сделал для тебя, да сколько сил было»...

— Ну, Назарова вы тут не к месту вспоминаете, — усмехнулся Полипов. — Жил на земле он... Все мы на земле живем.

— Нет, к месту! — не вытерпел Кружилин. И заговорил, волнуясь: — Все на земле, да иные на чужой будто. А это была его, Панкрата Григорьевича Назарова, земля, на которой он родился, жил... Страдал и радовался, ненавидел и любил... Жил он здесь! А людям и дальше на ней жить. Жить и умереть так же, как он, потому что никакой другой земли для людей нет и не будет! И не нужно, чтоб другая была...

Полипов все это выслушал внешне терпеливо и, когда умолк Кружилин и в кабинете установилась полная тишина, проговорил:

— Философия эта и эти твои эмоции мне понятны. Но какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?

— А самое прямое. На том поле кукурузу на силос мы и посеем! А если ты не понимаешь, какая тут связь, помочь ничем не могу.

— Семена уже приготовлены, — сказал Савельев. — Поле давно поспело, завтра же начнем.

— Что же... — спокойно проговорил Полипов, бросая взгляд на настенные часы. Было без четверти двенадцать. — Пока не наступило завтра, мы поговорим об этом сегодня на бюро. И вообще еще разок о всех ваших делах поговорим. Бюро начинается в два часа. Прошу не опаздывать. А сейчас можете сходить в столовую пообедать...

Василий заметил, что, говоря это, Полипов неловко бросал взгляд с предмета на предмет, избегая смотреть на председателя с парторгом.

К двум часам Савельев и отец снова были в райкоме. Бюро уже началось.

— Петр Петрович по срочному делу выехал в один из колхозов, — сообщила в приемной секретарша. — Бюро ведет второй секре-

тарь. Петр Петрович извинялся и просил вас подождать. Он скоро придет. Как только вернется — сейчас же ваш вопрос.

Полипов появился в райкоме, когда стемнело.

— Земля у вас действительно поспела, — сказал он, проходя в кабинет через приемную. — Специально крюк сделал, чтоб посмотреть...

— Чем это все пахнет? — с тревогой произнес Савельев, когда закрылась дверь за Полиповым.

И вдруг из кабинета, переговариваясь, вышли члены бюро. Ничего не понимая, Савельев поднялся и прошел к Полипову. Следом за ним вошел Поликарп Матвеевич.

Секретарь райкома звонил в гостиницу по телефону:

— Ага, два места... Самых лучших. Зачем отдельных, можно вместе. Добро. — Положил трубку и развел руками. — Взбунтовались члены бюро, не до света же, говорят, заседать. Решили продолжить завтра, в десять утра. Ничего не поделаешь, коллегиальность. Да и действительно, кончать надо с заседательской суетней... В общем, простите, Иван Силантьевич и Поликарп Матвеевич, а завтра сразу в десять потолкуем с вами. С гостиницей я для вас договорился... за счет райкома. Отдыхайте.

Однако и на следующее утро бюро почему-то не собралось. Сказали, соберется в два часа дня. А днем Полипов объявил, с треском застегивая замки своего портфеля:

— К сожалению... впрочем, для вас это к счастью — меня и второго секретаря вызывают в обком партии. И заметьте — совещание по вопросам намечившихся тенденций к сокращению зерновых площадей в области. Этак, братцы мои, без хлебушка останемся. Так что не вздумайте там мудрить... Вопрос этот острее, чем вы думаете. Легко надвое разрезаться... На время сева к вам уполномоченным вот товарища редактора назначили. Смотрите, под постоянным контролем газеты находитесь. Выезжай-ка, Василий Поликарпович, в колхоз сегодня же...

Уполномоченным Василия в «Красный партизан» действительно назначили еще несколько дней назад. И он вместе с председателем и отцом выехал в колхоз.

Ехали почти молча. Только Савельев всю дорогу плевался:

— «По вопросам тенденций...», «Надвое разрезаться».

А отец всю дорогу угрюмо молчал.

Когда подъезжали к Михайловке, Савельев и отец словно по команде выскочили вдруг из машины и побежали к полю, по которому вдоль и поперек ползали двухрядные сеялки.

— Эт-то еще что такое?! Кто разрешил пшеницу сеять?! — закричал Савельев сеяль-

щикам, размахивая костью. — Прекратить сейчас же...

— Можно и прекратить, — сказал сеяльщик и грубо выругался. — Да ведь кончаем уже. Вчера полдня сеяли, всю ночь да сегодня, считай, целый день.

— Кто разрешил, спрашиваю? Ведь мы это поле под кукурузу оставили.

— Кто же, кроме бригадира? Только не разрешил, а заставил... Вон он, спрашивайте.

На дрожках подъехал бригадир, щупленький, болезненный мужичок, вступивший в колхоз уже после войны. Несмотря на теплынь, он был в шапке-ушанке, одно ухо которой торчало вверх.

— Ну? — произнес Савельев, когда бригадир натянул поводья. Усы председателя вздрагивали. — Самовольничаешь?

— А тут не знаешь кого слушать, — угрюмо произнес бригадир. — Тот грозит, другой грозит...

— Я не угрожаю, я спрашиваю: что ты наделал?! Ты понимаешь?

— Чего мне понимать... Тут вчера сам Попов был. Приказал: сей пшеницу. И не уехал, пока не начали сеять...

Это сообщение сразило Савельева. Он сел прямо на пахоту возле ног своего парторга.

— Да и подумать если: чего тебе, Иван, на рога лезть? Со здоровья и так последний рубль разменял вроде... — Бригадир, тяжело шаркая ногами, подошел к председателю и тоже сел на землю.

— Так вот чем это пахнет, — уронил отец. — Без кормов-то хочешь не хочешь створчивее будем насчет увеличенных планов мясосада. Не мытьем, так катаньем!

— Не городи-ка... чего не следует, — тихо попросил председатель. И Василий понял: Савельев сказал это лишь для него — как никак, а он уполномоченный райкома партии.

Потом все несколько минут безмолвно дымили папиросами. Было в этом молчании что-то тягостное, гнетущее.

— Что же посоветуете, Иван Силантьевич, папа? — осторожно спросил Василий. — Может быть, статью написать в областную газету обо всем этом? Или в центральную?

Василий понимал, что статью писать бесполезно: ее не напечатают. Но все же спросил, чтобы облегчить как-то состояние всех.

Савельев медленно, с трудом приподнял голову, повернул мятое, усталое лицо к Василию.

— Не надо.

Теплый весенний ветерок гулял над полем, ворошил молодые листья берез, растущих по краю полосы. Черные, тяжелые, словно камни, галки прыгали за сеялками, надеясь, как при пахоте, поживиться жирными червями.

— Ну так что, уполномоченный? — вздох-

нул Савельев, по привычке затаптывая каблком окурки в землю. — Какие твои будут указания насчет... сева? Куда какую сеялку послать в первую очередь? Всех или не всех колхозников посылать в поле? Темпы сева как увеличивать будем? К какому сроку отсеяться нам?

— Не надо, Иван Силантьевич. Я же не ребенок. Вы работайте, а я... поучусь, в общем, сельскому хозяйству.

Отец поднял на него глаза и опустил, ничего не сказав, а Савельев Иван произнес:

— Что же, спасибо, Василий. — Поднялся, уперся единственной рукой в землю. — Но ведь с тебя спросят: что делал, на что мобилизовывал нас, грешных. Сами-то мы самостоятельно никогда не мобилизуемся.

— Слово-то какое. Казенное слово-то, — вставил бригадир.

— Спросят — отвечу: на успешное завершение сева. Скажу, что личным примером заражал и вдохновлял. Так что поставь меня на какую-нибудь сеялку. Или пошли семена подвозить.

На другой день отец позвонил в райком. Попов еще не вернулся из области. Но через два дня он соединился с ним и сказал:

— Вот что, Петр Петрович... Темна душа твоя... Но такой подлости я даже от тебя не ожидал... Ничего, от меня это можешь выслушать. Что? Нет, не боюсь. И этого не боюсь. Чего боюсь? Только одного — своей совести. И тебе советую бояться своей...

И положил трубку.

Этой весной, через тринадцать лет после окончания войны, когда шел пятнадцатый год Лене, дочери пропавшего без вести Семена Савельева, обнаружился вдруг неясный и далекий его след, казалось, навсегда уже затертый временем.

Случилось это в теплый майский день, когда сирень еще не цвела, но соловьи, как положено, давно захлебывались песнями. В этот день, в воскресенье, часов в одиннадцать утра, в крохотной избушке Акулины Козодоевой открылась дверь, нагибая голову, чтобы не стукнуться о притолоку, вошел мужчина лет пятидесяти, рослый, хотя в плечах не очень широкий, одетый чисто, в шляпе и галстуке.

— Здравствуйте, — сказал он. Зеленоватыми глазами, в которых была не то задумчивость, не то усталость, прищелец окинул комнату, по очереди оглядел трех ее обитательниц, остановил взгляд на Наташе и добавил: — Извините, что побеспокоил...

Это был Петр Зубов, сын бывшего полковника царской армии, затем уголовник, а с лета сорок второго года боец штрафной роты, которой командовал капитан Кошкин.

Немало зим и весен прошло с того дня, когда Наташа в первый и последний раз видела этого человека в доме Маньки Огородниковой, шестнадцатая зим и шестнадцать весен, шла семнадцатая, и теперь Наташа его не узнала. Да и он с той далекой зимней ночи совершенно изменился, глаза выцвели, раньше лицо было чистым и гладким, а теперь на лбу и щеках пролегли глубокие морщины, он носил небольшие, аккуратно подстриженные, обсыпанные густой изморозью седины усы.

Зато бабка Акулина, окончательно высушенная временем, но по-прежнему живая и неугомонная, едва замолк его голос, сказала нараспев:

— Здорово живе-ешь, Петро Викентьевич.

Он резко повернулся на ее голос всем телом:

— Вы... меня знаете?!

— А чего ж... — усмехнулась старуха дряблыми губами. — Бог дал вот за страдания мои мно-ого сроку. Я и батюшку твоего знавала. И дедушку. Ты-то его не знаешь, дедушку своего, после него уж народился, а я знавала. Крепостные мы были у него, мои родители-то, на Ярославщине жили...

Зубов так и сел. Шатнулся к табуретке, которая стояла неподалеку, и осел. А старуха сказала Наташе:

— Петро Зубов это, доченька, сын Викентия. У того Викентия братец еще был, Евгений, за которого я на каторгу-то угодила.

Наташа вскрикнула, зажала вскрик ладонью.

Старуха молчаливо стояла возле кровати.

Зубов, ничего не понимая, вертел головой.

Ничего не понимала и Лена — невысокая, тоненькая еще и хрупкая, светловолосая в отца и темноглазая в мать. Она, когда вошел этот человек, готовилась к экзамену по истории, который должен быть завтра, в понедельник, и теперь, держа в руках учебник, стояла у окошка, пронизанная сильным весенним солнцем, льющимся в комнату. Она не понимала и не осознавала, что самая история, которую она уже не первый год изучает по учебникам, присутствует здесь, в их маленькой комнатушке, в живых лицах, что бабушка Акулина Тарасовна, этот незнакомый человек, ее мать да и она сама — обыкновенные и мало кому известные люди — тоже участники истории, которую она учит, нелегкой и непростой истории человечества.

— На какой, простите, каторге? — спросил Зубов, когда прошел первый шок. — При чем тут брат моего отца? Из далеких рассказов отца я что-то припоминаю... был у него, кажется, брат, который то ли умер, в юности еще, то ли погиб... Расскажите, если знаете что.

— А что ж, и расскажу, — проговорила

старая Акулина. — Зачем мне с собой это уносить? Пуцай ты будешь знать, на пользу, може, тебе, Петро Викентьевич... Сам-то чего и как объявился тут?

Зубов помедлил, оглядел Наташу, потом Лену, спросил у Наташи, не отвечая на вопрос старухи:

— Вы помните ту ночь в доме Огородниковой Марии, во время войны? Когда нас всех арестовала милиция?

— Да... — выдохнула она. — Это было ужасно.

— И я помню, — усмехнулся он.

— Вы сказали мне странные слова: никогда, девочка, не становись на колени. Если человек сделал это, он уже не человек...

— Разве? — проговорил он и задумался. — Да, кажется.

— Чего вы хотите?

Зубов и на ее вопрос не ответил, а спросил, опять не сразу:

— Это... дочь Семена Савельева и ваша?

— Да.

— Очень похожа на отца.

И здесь только Наташа поняла, что этот человек принес какие-то известия о ее муже. От давно потерянной и наперекор всему мгновенно возникшей надежды она задохнулась и, поблуднев, прошептала:

— Вы... что-то знаете о Семене?

— Я думал, он здесь.

Надежда, не успев родиться, тут же умерла, как умирает, моментально испаряется капля воды, случайно пролитая на пыльную, иссушенную зноем землю.

— Его нет...

— Я вижу.

— Вы... встречались с ним где-то?

— Да, где-то под Орлом, в сорок третьем это произошло, в июле, кажется.

— А в июне от него пришло последнее письмо. И больше не было.

— Очень возможно, что я последний человек, который его видел, — произнес Зубов.

На другой день Зубов Петр Викентьевич вместе с Наташей был в Михайловке, сидел за столом в доме Анны Савельевой и не торопясь снова, как вчера, рассказывал о Семене:

— ...Встретились мы с ним в колонне военнопленных, которую гнали немцы через село Жерехово. Под этим селом есть крутой холм. Возле холма шел страшный бой, в направлении на высоту и наступала из болота наша штрафная рота, а на холме, окруженном немцами, находился ваш сын, Анна Михайловна, как он мне потом говорил.

— Так... Там мы были, — сказал Иван Савельев, сидящий за столом рядом с Кружилиным. — Я им все это рассказывал. Я так и ду-

мал, что Семена они в плен угнали. Я его искал после того боя и нигде не нашел.

— В плен, — кивнул Зубов. — И меня под этой высотой взяли. Семен контужен был, все крутил головой. И спина у него была осколком разорочена, порядочный лоскут тела вырвало, но позвоночник, к счастью, не задело.

— Да, — опять подтвердил Иван. — Еще в самоходке его контузило, потом на высоте добавило. Мы его в ровик положили, думали, там безопаснее, а туда снаряд. А после, когда немцы высоту захватили, он без сознания уж был. Я все рассказывал тебе, Анна...

Она приложила к глазам смятый в комок платочек. Несколько лет ей не хватало до шестидесяти, но она давно превратилась в старуху; раздавливающее известие о муже и страшная, непонятная судьба старшего сына сломали ее, потушили блеск в глазах, стерли навсегда ее былую красоту, все живое в ее облике.

На столе остывали чашки с чаем, нетронутой стояла бутылка водки. Анна поставила ее, никого не спрашивая, но никто не сорвал даже белую нашлапку с нее.

— А я, когда меня взяли, не был даже ранен, — продолжал Зубов. — Хотя какой-то немец так ударил прикладом по голове, что свет потух. Очнулся я, в себя пришел уже в колонне этой. Огляделся — и сразу заметил сбоку Семена, узнал. Я видел его до этого всего один раз, здесь, в Михайловке, и то мельком... Вот, Наталья Александровна знает, когда.

Все поглядели на нее, и она утвердительно кивнула.

— Но он мне запомнился тогда чем-то... В колонне этой и потом, пока везли нас до Данцига, я ничего ему не говорил. Молча ухаживал за ним. У меня, на удивление, от удара немецким прикладом череп выдержал. У Семена с головой было хуже, его постоянно тошнило. И спина заживала медленно, долго гноилась, полечить было нечем. Я ходил за ним как мог, и он, представьте, тоже узнал меня. Когда ему стало получше, он вдруг спросил в упор: «Ты-то, бандюга, каким образом тут оказался?» Это было в Мариенбурге. Есть такой городишко близ Данцига, там был концлагерь, нас туда и перегнали вскоре. Но там мы тоже недолго задержались почему-то. Вскоре нас перевезли в пересыльный лагерь, который назывался «Хаммерштейн № 315». Там было собрано несколько тысяч человек пленных, их куда-то отправляли морем небольшими партиями. На рассвете и наш барак однажды подняли, загнали на проржавевшие баржи, их было три или четыре. Немцы называли это — транспорт «Гинденбург». Высадили в Финляндии, на пустынном берегу... Затем много недель нас гнали по болотам, по тундре, на север Финляндии, пока не пришли в концлагерь неподалеку от города Рованиеми...

Наташа сидела безмолвная и будто бесчувственная. Ей, как и всем здесь сидящим, тоже пришлось перенести немало. Она отцвела быстро, кожа на лице поблекла, в глазах поселилась тоска, и она казалась намного старше своих тридцати трех лет.

— Вы расскажите, как вы шли! — сухим голосом потребовала она. — Расскажите все, что вчера мне рассказывали!

— Как шли? — Зубов зябко пожал плечами. — Все сейчас жутко вспоминать, и это тоже. Еще в Хаммерштейне выдали нам старые немецкие шинели и тонкие, протертые до дыр, суكونные одеяла. Так и шли, в этих шинелях, накинув поверх одеяла — холодно в тундре ночами. На ногах — ботинки на деревянных подошвах. От мокроты подошвы быстро раскисли, расплзлись на волокна — многие шли босиком, разбивая в кровь ноги. Резали шинели и одеяла на куски, обертывали ими ноги. Но эти портянки через час-другой тоже превращались в лохмотья. Спали прямо на мокрой земле. Заболевших или выбившихся из сил охранники тут же пристреливали. Могил не копали — не надо было копать, всегда поблизости было какое-нибудь болото. Оттаскивали туда труп и бросали в трясины. А кормили... Ну, почти не кормили. Галеты какие-то давали — вот и вся пища на день, а то и на два... Мы с Семеном держались друг друга и, в общем, выдюжили. Не знаю я, как... В Рованиеми было полегче, спали хотя бы на сухом. Там мы были вместе, в одном бараке жили несколько месяцев. А осенью сорок четвертого нас разъединили. Я остался в этой болотной каторге, а Семена куда-то угнали с большой группой пленных. Куда? Нам никто и никогда ничего не объяснял, спросить было не у кого. Ходили слухи, что через финскую границу их погнали, в Норвегию... Прощаться с назначенными на транспорт не разрешали, остающимся запрещено выходить из блоков. В нарушителей стреляли без предупреждения. Я нашел лишь возможность крикнуть Семену через решетку окна: «До свидания». Он оглянулся и ответил: «Прощай, брат...» Так я видел его в последний раз. Когда в конце сорок четвертого советские войска прорвали фронт в Заполярье и подошли к Рованиеми — Семена там уже не было...

Когда он умолк, Анна Михайловна всхлинула и проскулила:

— Наташенька! Что выпало-то ему на судьбу! Что перенести довелось!

Ночевал Зубов в одинокой квартире Поликарпа Кружилина. Иван приглашал к себе, но Зубов сказал ему:

— Спасибо, Иван Силантьевич. Я еще живу, наверное, тут и у тебя побываю. А

сегодня вот с Поликарпом Матвеевичем хочу поговорить.

Но в доме Кружилина никакого особого разговора у них не получилось. Зубов был хмур, утомлен своим рассказом о Семене. Видя это, Кружилин разобрал ему кровать, себе постелил на диване.

— Так и живете? — спросил Зубов, оглядывая простенькую комнату.

— Так и живу, — ответил он. — Местные старушки меня опекают. Кто приберется, кто сготовит. Анна Савельева часто заходит.

Уже лежа в кровати, Зубов усмехнулся:

— Удивительно, если вдуматься.

— Что удивительно?

— Вот вы меня, сына царского полковника, который гонялся за вашим партизанским отрядом, на кровать уложили, а сами, командир того отряда, на диване...

— Когда это все было-то? Сейчас вы — мой гость.

Зубов помолчал и проговорил:

— Вы знаете, конечно, что Иван Савельев жизнь мне, тогда мальчишке, спас?

— Знаю. Он был в банде Кафтанова...

— А теперь председатель колхоза?

— Да, и неплохой. Уважаемый в районе человек.

Еще помолчал Зубов, думая о чем-то.

— Жизнь — это какая-то чудовищная бездна... Ну ладно, давайте спать.

На другое утро Зубов был так же задумчив и хмур. Они попили чаю, который Кружилин вскипятил на электрической плитке. И, заканчивая завтрак, Зубов попросил:

— Вы не могли бы меня свозить на место последнего боя с отцом? Огневские ключи это место, кажется, зовется.

— Ну что ж, поехали...

По дороге, пошевеливая вожжами, Кружилин говорил:

— Там, если помните, была заимка местного богатея Кафтанова, потом атамана банды, которая присоединилась к вашему отцу, прибывшему со своим полком разгромить наш отряд. Мы укрылись в горах. Когда выбрались из каменного мешка, в котором нас сторожили каратели, мы, прежде чем уйти в тайгу, решили напасть на заимку, где ваш отец отдыхал...

— Да, тут уж, как говорится, кто кого. Борьба классов. Так мне популярно объяснял однажды на фронте ваш Яков Николаевич Алейников.

— Вы... с ним встречались там?!

— Было однажды. Я вам все, что знаю о нем и о командире нашей штрафной роты Кошкине, расскажу еще... А об Алейникове так ничего и не слышно до сих пор?

— Нет, — коротко сказал Кружилин.

— Жалко, если погиб... Да, я помню, как

тогда бой начался. Нас разбудили выстрелы, дом, в котором мы спали, загорелся...

— Загорелся. И дотла сгорел. Долгое время на берегу озера лишь обгорелые головешки валялись. Головни долго не гниют. Панкрат Назаров, бывший тут председателем до Ивана Савельева, все хотел построить там новое здание и открыть в нем для колхозников дом отдыха. Но для этого не было возможностей, а потом — война. Иван Савельев тоже хочет это сделать. Но возможностей особых и сейчас нет, пока поставили на берегу озера сруб только...

— А будут эти возможности? — спросил Зубов, обернувшись.

— Обязательно.

Больше они до самых Огневских ключей не разговаривали.

Когда приехали на место, Зубов молчаливо походил вдоль озера, обошел длинный сосновый сруб под шиферной крышей, присел на кучу бревен, лежавших возле стенки.

— Вы знаете, что я помню еще, Поликарп Матвеевич? Как отец погиб здесь. — Он показал на новый сруб. — Сперва отец с Алейниковым рубился, достал того по лицу концом шашки. Еще мгновение — и он бы зарубил Алейникова. Но в отца начал палить из нагана Федор Савельев, брат Ивана. Отец упал, кажется, но стал подниматься. Тогда Федор тот подскочил и ударил его шашкой...

Кружилин выслушал это молча, ничего не сказав. Дул ветерок, шевелил небольшую волну на озере, и оба они долго смотрели, как бегут и бегут невысокие водяные круглые валуны.

— Мне жена Семена говорила, что Федор Савельев погиб на войне.

Кружилин внимательно поглядел на Зубова и произнес:

— Он не погиб, его Иван застрелил, брат его родной.

— Как? — воскликнул Зубов вставая.

— Федор этот у немцев служил.

— Ка-ак?!

И Зубов снова сел на бревна.

На этот раз он сидел долго, опустив голову. Кружилин постоял рядом, потом тоже сел.

Ветерок все гнал и гнал по озеру волны, с негромким плеском они разбивались о песчаный берег.

— Нет, жизнь — это бездна, — повторил Зубов вчерашнее.

Но он еще не знал, за что старая Акулина Тарасовна попала на каторгу, она пока не успела ему этого рассказать.

На обратном пути в Михайловку Зубов был так же молчалив, а Кружилин не тревожил его, понимая, что делать этого нельзя.

Наконец сам Зубов произнес:

— Вы не поймете, Поликарп Матвеевич, что со мной творилось, когда в пересыльном лагере, уже советском, мне во всем поверили и сказали, что я свободен... К тому времени Финляндия вышла из войны, немцам было не до пленных, они просто нас бросили. Охрана, эсэсовцы погрузились на машины и уехали. Так случилось — неожиданно и просто. Финны передали нас советским войскам. С каждым, конечно, разбирались довольно долго потом.

— Я представляю. Мне сын рассказывал...

— Что?

— Он тоже был в плену. Всю войну.

— Вы — шутите?

— Почему же? Вы сами говорите, что жизнь — бездна.

День стоял веселый, теплый, и несильный ветер качал ветви деревьев и кустарников, молодая листва, перекипая под солнцем, шумела деловными, как сама земля, звуками.

— Это хорошо, что вам и моему сыну поверили. Но так, к сожалению, не всегда бывает, — произнес Кружилин, подумал о чем-то, горько усмехнулся. — Живет и здравствует, может быть, где-то чекист по фамилии Тищенко. В середине тридцатых меня судьба сводила с ним. И до сих пор я, как вспомню о нем, — вздрагиваю. Этот был вам с моим сыном никогда не поверил... А ведь, в сущности, человеку немного и надо — поверить ему.

— Да, Поликарп Матвеевич! А я рассказывал им все честно. Все! И кто я такой и что за свои... художества был приговорен к высшей мере... Дело мое вел пожилой и усталый какой-то офицер, он спросил меня: «Ну и зачем вам такая жизнь?» — «Да, — говорю, — не нужна такая, а другой мне не положено» — «Кем это не положено? — спрашивает офицер. — Кто это чужой жизнью распоряжается?» — «А вот такие, как вы», — отвечаю. «Ну и дурак же ты, братец, — усмехнулся он. — Жизнь своей всегда распоряжается сам человек. Только сам. Истина эта, Зубов, самая простая, проще не бывает. Но, к сожалению, этой-то простейшей истины люди иногда не понимают».

— Простейшей... — повторил, как эхо, Кружилин. — За постижение людьми этой простейшей истины и ведет свою нелегкую и гигантскую работу партия коммунистов.

Зубов бросил взгляд на Кружилина, секунду-другую смотрел на него, медленно отвернулся.

Затем долго наблюдал, как проплывают мимо их ходка все так же искрящиеся солнечной листвой кустарники, слушал глухой перестук колес по мягкой затравеневшей дороге.

— Мне еще предстоит рассказать матери Семена в подробностях, как мы жили с ним в немецких лагерях. Она это потребовала...

— Значит, ей это необходимо знать. Расскажи.

— Я удивлялся этому мальчишке, Поликарп Матвеевич... Откуда он брал физические и духовные силы?! Я прошел огни, и воды, и медные трубы, все испытал... В советских тюрьмах и лагерях не мед, конечно, что говорить. Но, боже мой, они мне показались санаториями по сравнению с фашистскими! Там даже я не выдержал было, хотел на проволоку под током броситься. И знаете, что мне Семен однажды сказал? Слюняй ты, усмехнулся он, и размазня кислая... Ну и бросайся! А я, коли уж придется умирать, еще хоть одного фашиста как-нибудь изловчусь с собой утащить...

— Вот об этом и расскажи Анне, — повторил Кружилин.

— Да, обязательно, — кивнул Зубов, задумался, уронил ни с того ни с сего печальную усмешку. — Долго я, дурак, мучился — а что такое родина, какая она может быть для меня? И только там, в фашистских лагерях, я понял это все. И Семен этот и другие помогли мне в том... Понял я, наконец, что такое русская земля и ее люди...

Кружилин помолчал и спросил:

— А где после освобождения-то жил?

— По разным городам... Работал, трудовая книжка у меня в порядке. И знаете где? Я магазины до войны чистил ловко, по магазинной части меня и потянуло. Начал с грузчика, был потом и продавцом и даже заведовал секцией в одном гастрономе. Я женат, жена у меня добрая, славная, тоже из торговых работников. Сын у меня растет. В общем, все вроде бы хорошо. Но что-то точило меня, точило... И все яснее я понимал — хочется туда, в Сибирь, съездить, где отец погиб... Только не думайте, что сожалел я о нем. Алейников тогда, на фронте, хлестанул меня — памятью об отце изнываешь, не простишь за него, мол... Нет, Поликарп Матвеевич, не изнывал и тогда уже. А после войны — тем более. Тут что-то другое... Совсем другое. Все до конца понять хочется...

— Хотите здесь остаться? — спросил Кружилин. — Я поговорю с директором Шантарского завода Хохловым, им, я слышал, работники в Отдел рабочего снабжения нужны. Или в магазин, у них при заводе большой продовольственный магазин.

На это предложение Зубов никак не отозвался, опять наблюдал, как играют молодые листья облитых солнцем кустарников. Затем поднял голову, стал безотрывно глядеть на островерхие утесы Звенигоры, плывущие под облаками. Казалось, что облака стоят на месте, а каменные вершины, чуть-чуть не доставая их синеватых днищ, едва-едва их не распары-

вая, куда-то безостановочно двигаются и двигаются.

— А ведь верно, — неожиданно проговорил Зубов. — Именно за постижение людьми, каждым человеком, этой вроде бы простой истины, простого вопроса — как и зачем жизнь свою прожить — и идет на земле такая борьба.

— Да, — отозвался Кружилин, мгновенно понявший, о чем говорит Зубов. — И потому дело, за которое мы боремся, бессмертно.

Василий Кружилин пробыл в «Красном партизане» до конца посевной. Работал на саялке, подвозил семена, по вечерам беседовал с колхозниками о житье-бытье. Сперва разговоры шли вокруг общих тем, говорили вроде обо всем и в то же время ни о чем. Василий понимал: сокровенное, наболевшее. колхозники не спешили высказывать, приглядывались к нему. «Черт возьми, в этом мы, кажется, добились успехов, — с горечью думал он, — научили людей остерегаться всяких начальников, представителей из района. Как же так можно руководить?»

Но одного колхозника как-то «прорвало».

— А вдруг да уродит нынче пшеница на этой полосе! — сказал Василий, кивая на массив, предназначенный было под кукурузу. — Тогда окажется, что секретарь райкома был прав.

— Да что ты нам этой пышницей вашей тычешь? — зло заговорил приземистый, давно не бритый, пожилой, лет под шестьдесят уже, мужик по имени Аркадий Молчанов, которого все звали просто Аркашка Молчун. Звали его так, вероятно, не из-за фамилии, а потому, что он был тихий, незаметный, никогда не ввязывался в разговоры. И Василий не помнил случая, чтобы Молчанов вставил хоть слово во время общих бесед. Он сидел себе где-нибудь в сторонке, одну за другой вертел толстые самокрутки такими же толстыми пальцами и пускал дым между колен. Иногда его что-то, видимо, заинтересовывало, задевало, он поднимал голову, с прищуром оглядывал разговаривавших. Потом скоблил пальцами заросшую крепкими волосами скулу, ухмылялся про себя и принимал прежнюю позу.

Тем более неожиданным показался его возглас. В широко поставленных глазах его, во всей коренастой фигуре, в голосе и особенно в этой «пышнице» в сочетании со словом «ваша» было что-то обиженно-злое, нехорошее.

Возле полевого вагончика, где сидели колхозники, установилось безмолвие. И в этой тишине Молчанов еще повторил:

— Чего тычешь? Чего тычешь?

— Я не тычу, Аркадий Михайлович, я просто говорю, — сказал Кружилин.

— Ты говоришь... Тогда и я скажу, — чуть помягче, но все равно со злостью продолжал Молчанов. — Вот все говорят: испортился колхозник, работать не хочет, этим, как его... собственником стал. Все на своем огороде тсрчит да за своей скотиной ходит. Будто, мол, колхоз не его. Ежели косит, скажем, колхозник сено для своей коровы, так пластается до полного выдоха, потом все до клочка подберет и увезет. А на общественных коров так себе робит, с перекурком. И потом — осталось где копна в кустах, черт с ней, не полезет, пусть пропадает. Не свое, мол. А зимой скот дохнет от бескормицы...

— Что ж, бывают ведь такие случаи, — проговорил Василий. — Не лазают.

— А кто виноват? Я, что ли? — хрипло спросил Молчанов.

Такого поворота в рассуждениях колхозника Кружилин никак не ожидал.

— Не понимаю... — начал было Василий, но Молчанов перебил его насмешливо:

— Где уж тебе!

— Зря ты так, Аркадий Михайлович.

— Ничего не зря. За этой копешкой и я, брат, лишний раз в неловкое-то место не полезу. И ты не полез бы, коль поробил бы с наше на дядю. А то — пышеница, пышеница...

— Как это понять — «на дядю»? И при чем все же здесь пшеница?

— А при том! Посеяли бы тут кукурузу — так это для себя. А пышеничку для дяди. Да ежели она еще уродит. Вот и думай.

Молчанов встал и пошел. Понемногу как-то безмолвно разошлись и остальные. А Кружилин остался думать.

Таких вечеров и ночей для дум у него было более чем достаточно.

Несколько раз в колхозе появлялся Полипов. «Для дяди...» — каждый раз вспоминал слова Молчанова Кружилин. Встречаясь с уполномоченным, секретарь райкома хмурился, говорил почти всегда одно и то же:

— Плохо, плохо, Василий Поликарпович. Личный пример — это хорошо. А сроки уходят. Многие уже отсеялись, а вы... Нажимайте.

Однажды Полипов приехал раздраженным сильнее обычного.

— Почему ночные смены не во всех бригадах организованы? Во второй сеют круглосуточно, а в третьей почему ночами не работают? Что вы тут? Опять «сырые» настроения? Слышишь, Иван Силантьевич?

— Слышу, — ответил председатель колхоза. — Тут мы действительно того... Закрутились. Организуем.

— Вот так. Учи вас. Значит, нынче же выделить ночных сеяльщиков. Кружилин, ты проконтролируй, — сказал на прощание Полипов таким тоном, будто рядом не было председателя колхоза.

Василий же знал, что в третьей бригаде не только ночью, но и днем сеять можно не везде. Большинство полей в этой бригаде находилось в низменных местах, земля там действительно лежала еще сырая и холодная.

— Хорошо, проконтролирую, — пообещал Кружилин на прощание. Когда же Полипов уехал, сказал Савельеву: — Делай, Иван Силантьевич, как знаешь.

— А чего тут знать? Спелой земли в третьей бригаде почти нет, а во второй триста гектаров пересыхает. Половину техники из третьей во вторую надо перегонять.

— Вот и перегоняй.

Отсеялся «Красный партизан» позже других хозяйств района, но Василий Кружилин был доволен: все Иван Савельев сделал по-хозяйски, семена легли в теплую землю.

— А я думал, к июлю не закончите сев, — сказал Полипов, когда Кружилин появился в райкоме.

— Сводку подпортили? — как можно равнодушнее спросил Василий.

— Вон как! И ты туда же! — воскликнул Полипов. — Это модно сейчас стало — за сводки стыдить районных руководителей. А пора бы сообразить — не в сводках дело. В лучших агротехнических сроках. А вы с Савельевым и с твоим отцом их упустили.

— Не думаю.

— Так думай, черт возьми! Пора уж привыкать к этому. Вот посмотришь — урожай у Савельева нынче будет с гулькин хрен.

— Посмотрим.

На том и расстались с Полиповым.

Урожай в «Красном партизане» выдался в тот год не завидный. Но в других хозяйствах — и у тех, которые окончили сев раньше, и у тех, которые позже, было совсем плохо.

«Действительно, надо беречь таких хозяев, как Савельев, а мы...» — в течение лета часто раздумывал Василий Кружилин, вспоминая слова своего отца.

— Куда уполномоченным на уборку поедешь? — спросил Полипов осенью у Василия. — К отцу и своему любимому Савельеву, конечно?

Кружилин хотел напомнить о том разговоре, который состоялся весной, хотел сказать, что все-таки именно Савельев посеял в лучшие агротехнические сроки, а потому и урожай в «Красном партизане» выше, чем у других. Но поглядел на секретаря райкома — и пожалел его. Полипов за летние месяцы осунулся, похудел, глаза ввалились. Шея и скулы его почернели от солнца, губы загрубели от степных ветров. Он целое лето мотался изо дня в день по полям района, не ходил даже в отпуск. Как будто все это могло каким-то чудо-

действенным образом повлиять на урожай в тот засушливый год.

Еще Кружилин хотел сказать, что уполномоченные, кажется, вообще не нужны в колхозах. Но представил, как на это среагирует Полипов: «Ты понимаешь, что говоришь?! Ты понимаешь, какой нынче год?!» — и проговорил:

— Что ж, можно и в «Красный партизан».

В тот же день Василий выехал в колхоз.

В Михайловке давно научились собирать весь урожай до зерна. И хоть урожай был не бог весть какой, Савельев одним из первых в районе выполнил план продажи хлеба государству, продал немного даже сверх плана и засыпал порядочное количество фуража.

О фураже председатель беспокоился, как говорят, неустанно и неусыпно. Он не раз заставлял перемолачивать то одну, то другую скирду соломы, перевеивать целые вороха мякины, в которых, по его расчетам, должно было остаться сколько-то зерна. Из-под сортировок и прочих очистительных машин распорядился тщательно заметать все отходы — и все в амбары, в амбары.

Василий понимал тревогу и беспокойство Савельева. В колхозе большое животноводство, а из-за засухи сенокосы вышли чахлыми, скудными. Хорошо уродила кукуруза, но ее было посеяно маловато. Только теперь Кружилину стало до конца понятно, что наделал Полипов, заставив весной засеять пшеницей подготовленный для кукурузы массив. И вообще ему стало многое понятней после того, как он, считай, все лето провел в колхозе.

Уборка в районе подходила к концу.

Сумеречным и промозглым октябрьским днем Поликарп Кружилин, председатель Савельев и Василий сидели в конторе и подсчитывали, сколько зерна засыпано на фураж. И хотя потребности хозяйства не были обеспечены и наполовину, цифра получилась все же порядочная.

— Да, считаем, — и Савельев сбросил с конторских счетов все костяшки. — А пересчитывать, чуется мне, опять будет Полипов. На сколько там районная сводка хлебозаготовок?

— На семьдесят процентов пока, — усмехнулся Поликарп Матвеевич.

— Во-во... зловещая для нас цифирь. Да неужели это никогда не кончится? Сколько же можно рубить сук, на котором сидим?

В последующие две недели Савельев пропал в тайге, наблюдая за раскорчевкой. На это дело была брошена вся освободившаяся техника.

— Не приезжали из района? — каждый вечер спрашивал он, возвращаясь из тайги.

— Бог миловал, — отвечал Поликарп Матвеевич.

В воздухе холодало с каждым днем.

Но когда уже почти всем стало казаться, что из района никто не придет, у конторы ранним утром остановился райкомовский «газик».

— Та-ак... — Савельев тяжело присел на подоконник. — Как по нотам все идет...

Полипов зашел в кабинет, шумный, разгоряченный, будто бежал всю дорогу за своей собственной машиной.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, партизаны! — заговорил он весело. — Корчуете, значит, тайгу-матушку? Как же, читал, читал в нашей районке. Частенько, частенько о ваших геройствах газетка пишет. Вот что значит иметь редактора собственным корреспондентом... Так здравствуйте, что ли!

Василий и его отец поздоровались, а председатель вместо приветствия спросил, глядя в окно:

— За фуражом нашим приехали?

Полипов не спеша повернулся к нему.

— А ершистый же ты, брат. Люблю таких. Нет, не за фуражом. За тобой, Иван Силантьевич.

Савельев поднял вопросительно голову.

— Именно, Иван Силантьевич. Специально за тобой приехал. Давненько ты не был в районе.

— Особых дел не было, вот и не ездил.

— Да ты, вижу, все сердисься. Нехорошо... Ну, свои люди — сочтемся. Давай собирайся.

— Что там стряслось такое?

— Из обкома прибыл товарищ. Предупредил: возможно, подъедет сам секретарь. В двенадцать совещание. Собираем всех председателей.

— И всех председателей колхозов оповещает лично секретарь райкома? — подал голос Поликарп Кружилин.

Полипов, однако, улыбнулся.

— Да хватит шпынять меня, Поликарп Матвеевич. Прямо яд у тебя в голосе. Заехал, ну, не буду врать, не случайно. Я тут в соседнем колхозе ночку провел, надо было кое-что самому к совещанию посмотреть. Ну, думаю, заверну и в «Красный партизан», а то Савельев забыл дорогу в район, заблудится еще.

— Собирают по вопросам хлебозаготовок? — спросил Савельев.

Полипов на этот раз притушил свою улыбку.

— Откровенно говоря, по хлебозаготовкам. Положение серьезное, область недодала государству около двенадцати миллионов пудов хлеба. Это не шутки. Но тебе, Иван Силантьевич, беспокоиться нечего, ты сверх плана нынче много продал. Потрясем крепенько отстающих. Но быть ты должен. «Красный партизан» у области не на последнем счету. Поехали.

Василий опять заметил, что, говоря все это, Полипов как-то неловко бросал взгляд с пред-

мета на предмет, избегая смотреть на председателя с партгоргом.

Заметил это и Савельев.

— Все ясно, — вздохнул он, поднимаясь. — Парторга и уполномоченного с собой брать? Они ведь тоже все наши ресурсы на зубок знают.

— Не надо, — Полипов сказал это и поглядел на Василия.

— Конечно! — не сдержался тот. — А то я опрометчиво выскажу свое мнение, не изучив суть дела, не поняв самой сердцевины.

Ни отец, ни Савельев не знали, о чем говорит Василий. Зато Полипов знал. Он чуть склонил голову, будто раздумывая, что сказать. И ответил жестко:

— Именно этого и боюсь. Выскажешь — и долго жалеть потом будешь. А так еще спасибо мне потом скажешь. И ты, Поликарп Матвеевич, тоже.

Вернулся из района Иван Савельев на следующее утро, со злостью швырнул свой костюль в угол. Вызвал бригадиров, кладовщиков. Ни на кого не глядя, бросил:

— Поднимать всех шоферов. Грузить фуражное зерно.

Никто не тронулся с места, никто не проронил ни слова.

— Чего стойте! — раздраженно закричал вдруг Савельев. — Слышали все! Все, до зерна, вывезти на заготпункт...

Первым молча вышел из конторы Поликарп Кружилин, парторг.

Потом Савельев и Василий стояли у окна, слушали, как ревут грузовики, выезжая с полными кузовами из деревни.

— А партрги и уполномоченные из других колхозов были на совещании? — спросил Василий.

— Хорошо еще, что семенное зерно удалось отстоять. Что? Партрги? Были. И кое-кто из так называемых уполномоченных. Но это к лучшему, что вы с Поликарпом Матвеевичем не были. Все равно бы не помогли ничем.

Так колхоз «Красный партизан», как, впрочем, и другие хозяйства Шантарского района, снова остался без фуража.

А после ноябрьских праздников, когда наступили первые холода, Полипов опять взялся за Ивана Савельева и Поликарпа Кружилина, опять требовал с них три годовых плана по мясу. Прошлогодня история повторялась в точности.

— Не можем мы дать этих трех планов, — уже устало отбивались Кружилин и Савельев, которых чуть не ежедневно вызывали то в райком, то в райисполком. — Понимаете, не можем. Нет у нас скота,

— Выбраковывайте всех малопродуктивных животных, — говорили им в районе.

— Уже выбраковали все что можно... И даже сверх того.

Наконец Полипов прибег к самой крайности:

— Слушайте! Вы коммунисты или нет?! Вам нужны или не нужны партбилеты? Ты, Савельев, кажется, не так давно его носишь?

— А вот тут не пугайте! — почти закричал Савельев. — На что намекаешь? Что когда-то в банде Кафтанова был? За то получил свое: отсидел... Сколько раз пугать этим можно. Он ведь, партбилет, красный, кровью омытый. В том числе и моей! — И он тряхнул своим протезом.

— Не к лицу вроде так-то, Петр Петрович, секретарю райкома, — спокойно проговорил Поликарп Кружилин.

Полипов и сам понял, что хватил лишку. Но, чтобы выпутаться как-то из положения и спасти свой авторитет, уронил, не глядя ни на Кружилина, ни на Савельева:

— Ладно. Соберем на той неделе бюро и поставим на этом точку. Прошу быть без опоздания. К двум часам. В пятницу. А пока за вашу антигосударственную практику в мясозаготовках... Да, да, а вы как думали? Именно за антигосударственную... разделаем вас на весь район. Под орех!

Но когда Полипов дал такое задание Василию Кружилину, тот наотрез отказался:

— Не буду. Ни под орех, ни под дуб.

Разговор происходил по телефону, в трубке что-то булькнуло, видимо, Полипов от неожиданности проглотил слюну.

— То есть как не будешь?! — прохрипело в трубке. — Из родственных соображений, что ли?

— Несправедливо это. Я уже раз бил Савельева статьей по голове. До сих пор этот номер газеты жжет мне руки. Но тогда я кое-что не понимал.

— Теперь, значит, понимаешь?

— Стараюсь, во всяком случае, понять.

— То-то вижу, расшаркиваешься перед Савельевым этим.

Вскоре после разговора о отцом Василий напечатал большую статью о безупречной организации работ на вспашке паров в колхозе «Красный партизан». Отец при встрече сказал, улыбаясь: «Гляди-ка... А я был уверен, что тебе не хватит смелости извиниться перед Иваном... Прости, сынок».

Сам Иван Савельев, как и после первой статьи, ничего не сказал, только крепче обычного пожал руку. И потом Василий время от времени помещал положительные статьи в газете о «Красном партизане». Это Полипову явно не нравилось, хотя секретарь райкома ничего о них не говорил и лишь минувшей

осенью, приехав в «Красный партизан» за Савельевым, весело и будто дружески подковырнул: «Частенько, частенько о ваших геройствах газетка пишет». Было ясно, кому и с каким смыслом адресуются эти слова. И вот теперь снова: «Вижу, расшаркиваешься перед Савельевым». Что ж, все становится еще более ясным, отчетливым, определенным.

— Я не расшаркиваюсь, Петр Петрович, — как можно спокойнее проговорил Василий, хотя внутри у него все кипело. — Я просто знаю, что такой план не под силу «Красному партизану».

— Ну-ну, хорошо, — многозначительно произнес Полипов. — В следующую пятницу прошу и тебя быть на бюро. В два часа. Попробуем разъяснить тебе, что ты знаешь, а чего еще не знаешь...

...И вот наступила пятница.

Странное это было бюро.

Во-первых, Поликарпа Кружилина, Ивана Савельева и Василия около часа держали в коридоре перед кабинетом Полипова. Там, за дверями, первый секретарь райкома совещался о чем-то с членами бюро. Иногда сквозь обитую черным дерматином дверь доносились приглушенные голоса.

И хоть слов разобрать было нельзя, все трое догадались, что совещание протекает довольно бурно.

Во-вторых, когда Поликарпа Кружилина, Ивана Савельева и Василия пригласили в кабинет, им не дали сказать и слова. Просто Полипов встал и начал ровным, не предвещающим ничего хорошего голосом:

— Мы тут посоветовались в бюро и решили: дебатов разводить не будем. Потому что бесполезно. Позиции и настроения руководителей колхоза «Красный партизан» мы отлично знаем. Поэтому просто подведем итоги. Каковы же они, эти итоги? Вот, пожалуйста. Чистые пары товарищ Савельев сокращать не захотел, в зерновом балансе страны он вроде не заинтересован. Нынешняя весенняя история, когда потребовалось мое личное вмешательство в размещение посевов пшеницы в колхозе «Красный партизан», всем известна. Как и в прошлом году, председатель колхоза и партторг встречаются прямо в штывы пересмотренный районными организациями план продажи мяса государству. Кажется, пахнет определенной, так сказать, линией... А наша уважаемая районная газета и ее редактор товарищ Кружилин взяли эту порочную линию под защиту. Это тем более печально. Такие действия редактора можно квалифицировать как политическую несостоятельность...

Иван Савельев был все в той же старенькой гимнастерке, в которой Василий видел его в первый раз. И, как в тот раз, он лишь часто оглаживал усы.

Отец сидел не шевелясь, положив на колени большие руки, словно собирался фотографироваться.

— Мы тут долго говорили сейчас обо всем этом, — продолжал Полипов. — Членам бюро не хотелось бы думать, что это сознательная линия. — Помолчал и выразительно подчеркнул еще раз: — Не хотелось бы! Товарищи, видимо, просто заблуждаются, недооценивают важности наших задач... И товарищ Кружилин, наш молодой редактор, заблуждается. Мы не думаем, что он пошел на поводу у Савельева и своего отца, так сказать, из родственных побуждений, просто многое еще недопонимает. И наш долг, долг старших товарищей, объяснить это ему, помочь понять его ошибки...

Секретарь райкома говорил еще минут десять. Кончил тем, что всех, мол, надо бы строго наказать. Но, поскольку у Савельева выговор уже есть, можно в отношении его ограничиться за этот раз строгим предупреждением, зато парторгу теперь уж надо записать выговор, и полновесный. И пусть оба хорошо подумают, чем все это может кончиться, и тогда в самое ближайшее время осознают свои ошибки. А редактору, хотя он заслуживает строгого наказания, просто поставить на вид...

Кончив речь, Полипов тут же закрыл бюро.

— Так и не дашь мне ничего сказать? — спросил Поликарп Кружилин. — Не в свое оправдание, а просто еще раз хотел бы высказать членам бюро свое мнение о тебе...

— Мнение твое обо мне всем известно, Поликарп Матвеевич. И бюро уже закрыто. До свидания. А ты, Василий Поликарпович, останься. С тобой я хочу еще поговорить. Ну, что ты стоишь, Поликарп Матвеевич? С тобой все.

Кружилин, поглядев на сына, повернулся и вышел, сгорбив спину. Пока выходил, Полипов приводил в порядок бумаги на своем столе. Потом спросил как ни в чем не бывало у Василия:

— Как думаешь, не напрасно мы так мягко с Савельевым? Может, стоило ему еще один выговорок? Для симметрии?

— А ловко ты это моего отца при мне, его сыне, — усмехнулся Василий. — С ним, значит, все?

— Василий Поликарпович? Партийная работа — не игра в бирюльки. Приходится иногда жестоко поступать.

— Ну да, ну да, — оглядывая с каким-то любопытством Полипова, вяло произнес Василий. — Партийная работа... Выговорок для симметрии.

— Ничего, хватит ему одного... Теперь покладистее оба будут. Все равно скот зимой кормить будет нечем.

Василий все смотрел, смотрел на Полипова.

— Ты чего это? — не выдержал наконец тот.

— Ничего, Петр Петрович. Думаю вот, что отец-то мой, с которым «все», был прав.

— В чем? — насторожился Полипов.

— Да он еще весной догадался, чем пахнет вся эта история с кукурузным полем.

— Чем пахнет? Какая еще история?

— Отец предсказывал, что, если будет трудно с кормами, ты будешь еще настойчивее трюхи из них увеличенный план мясопоставок.

— Вот как! — Полипов усмехнулся. — Действительно, догадливый. — И прибавил холодно: — Еще что он тебе предсказывал?

— Кажется, больше ничего. Вот только однажды у меня разговор был любопытный с одним колхозником. Есть там, в «Красном партизане», такой неприметный мужичок Аркадий Молчанов. Он так рассуждает: на своем личном хозяйстве многие колхозники все силы кладут, а на общественных работах — так себе, с перекурком да дремоткой. По принципу: хоть пень колотить, лишь бы день проводить. И я, говорит, иной раз так же норовлю.

— Лодырь он, этот твой мужичок.

— Во-во! Я ему примерно так и сказал. Он тогда мне прямо в лоб: «А кто виноват? Я, что ли?»

— Час от часу любопытнее становится, — скривил губы Полипов. — Значит, он лодырь, а кто-то виноват? И что ты ему ответил?

— Ничего не ответил. Не знал тогда, что и как ему можно ответить. А вот сейчас ответил бы: виноват ты, Петр Петрович. Виноваты такие, как ты...

Полипов как-то странно повел вбок головой, одновременно пожимая плечами. Потом сильно забарабанил пальцами по столу, но, словно опомнившись, прервал этот стук и опять переложил с места на место свои бумаги.

— А с тобой занятно говорить, Кружилин. Очень занятно и даже весело. Выходит, я виноват?

— Выходит, — подтвердил Василий. — Сколько их, таких мужичков, как Молчанов, наплодили по всей стране? И как?

— Ну-ну, любопытно. Как же мы их наплодили? Объясни, пожалуйста.

— Очень просто. Сколько можно колхозников бить по рукам? Р-раз — весь фураж выгребают, что ни осень — заставляют коров вырубать. Тебе слава: как же, умеет Полипов дело поставить, вон сколько зерна и мяса каждый год дает район государству. А этому Молчанову приходится дыры в колхозе латать, и он доходу дает ему все меньше и меньше... Вот так год, другой, третий — и ему в самом деле ничего не остается, как пень колотить, чтобы приберечь силы для работы на собственном огорошке. Тебе подавай только славу, а что из-

за твоей славы многие колхозы района начинают приходить в упадок, а иные просто нищать — это тебе ни почем. Так государство и «богатеет».

— Все высказал? — спросил Полипов, когда Василий Кружилин умолк.

— Можно и еще.

— Да нет уж, дорогой, хватит. Слушал я тебя терпеливо. Но — хватит. Ну что же, много ты нагородил тут чепухи. Вот начнем хотя бы с государства, которое «богатеет»... Знаешь литературных классиков, хвалю. Ишь ведь как ты... с каким подтекстом. А оно, государство, какой бы подтекст у тебя ни был, действительно богатеет. Весь мир удивляется нашим экономическим успехам. Наши рабочие и колхозники, рядовые советские люди, совершают чудеса. Но это таким идейно незрелым людям, как твой Молчанов, невдомек... Разговоры о нас, коммунистах, Кружилин, ведутся уже полвека. Судят о нас и так и сяк... Особенно там, за рубежом. Но страшнее свои, доморощенные демагоги. Они заметили какой-нибудь отдельный недостаток в нашей работе — и, пожалуйста, готов вывод: не умеем хозяйствовать, наплодили лодырей. Но нам-то с тобой надо не только недостатки видеть, надо понимать историю, видеть все перспективно...

— А вы... перспективно видите? — спросил Кружилин, невольно перейдя на «вы». Полипов отшатнулся на спинку стула. — Вы-то историю понимаете?

Тогда Полипов медленно начал подниматься из-за стола.

— Что-о?!

— Вы сами-то глубоко ли плаваете? Вы-то, Петр Петрович, идейно созрели?

В пальцах Полипова хрустнул карандаш. Этот негромкий звук как бы вернул Василия Кружилина к действительности. Он даже удивленно поглядел вокруг — нет, в кабинете они были одни.

— Мальчишка! — крикнул Полипов и швырнул в корзину для бумаг обломки карандаша.

Василий тяжело сел, а секретарь райкома прошел к окну и стал смотреть, как сыплется на землю тяжелый, крупный снег.

Наконец он вернулся на свое место и сказал:

— Зрелый я или зеленый — ты волен иметь по сему поводу какое угодно мнение. А вот мне сейчас стало ясно: зря мы простили только что твое это... индивидуальное оппозиционерство.

— Чего-чего? — приподнял голову Кружилин. — Это что-то новое в марксистско-ленинской теории?

— Не паясничай! — повысил голос Полипов. — Ты отлично понимаешь, о чем я говорю.

Ведь только слепой не видит, что твоя газета взяла Савельева под защиту.

— Это газета райкома партии...

— Но у райкома-то, кажется, несколько иное отношение к Савельеву в связи с некоторыми важнейшими вопросами сельскохозяйственной политики. И практики.

— Я бы уточнил — у секретаря райкома. Ну, допустим, у райкома. А если отношение это неправильное?

— Что-о? — опять уперся было руками в стол Полипов, собираясь встать. Но не встал. Стул заскрипел под ним, грозя развалиться. — Во-он как! И что же ты намереваешься делать? Вербовать себе сторонников? Давай вербуй. Выступай в открытую против линии райкома. И вообще против линии...

Сказать — «против линии партии» Полипов все же не осмелился.

— Что буду делать, пока не знаю. Но можешь быть уверен, Петр Петрович, молчать не буду.

Василий Кружилин, сын старого большевика Поликарпа Матвеевича Кружилина, встал, усмехнулся.

— И еще можешь быть уверен в одном: опрометчиво до тех пор, пока не изучу сути дела, самой его сердцевины, высказываться не стану. Только уж наверняка. Я помню твой дружеский совет. Спасибо за него.

— Так-с, — ледяным голосом произнес Полипов. — А рога не сломаешь?

— Это что, угроза?

— Ну зачем же. Еще один дружеский совет.

— Как сказал один классик литературы: за два совета я вам благодарен вдвое.

— Хорошо, ступай...

Когда Василий был уже у дверей, Полипов будто с сожалением произнес:

— Эх, Кружилин, Кружилин... А я-то хотел спросить сегодня, как ты насчет того, чтобы нынче в члены бюро райкома тебя... Что ж, думал, предупредим на сегодняшнем бюро обо всех его завихрениях, посмотрим, как он отнесется к нашим дружеским советам, да и...

— Теперь, выходит, не спросишь?

— Не знаю, не знаю... — протянул Полипов и словно в недоумении развел руками.

«Сломал рога» Василий Кружилин очень просто. К весне его вызвали в сектор печати обкома партии и предложили редактировать газету другого, более крупного района. Он сразу понял, в чем тут дело.

— Это что, повышение, или как? — спросил Кружилин. — Полиповская протекция?

— Будем надеяться, что такой протекции из нового района вам не будет, — ответили ему. — Секретарь райкома там парень молодой,

но толковый. Сейчас обком повсюду укрепляет районные партийные кадры.

— А может, на учебу разрешили бы мне, а? Ведь годы уходят... Когда-то мечтал поступить в автомобильный институт. Потом на факультет журналистики. А сейчас появилось желание — в сельскохозяйственный.

— Жалко вас отпускать, — откровенно сказали ему. — Хороших газетчиков у нас не хватает. Но в сельскохозяйственном ведь заочное отделение есть...

III

Жизнь человеческая — как недолговечный костер. Вспыхнет он, отгорит, отполыхает, освещая вокруг себя большой круг или малый кусочек вечного и беспредельного пространства, рано или поздно огонь обессилеет, увянет окончательно, дрова превратятся в золу. Потом и прах этот разветвётся по земле, зарастет костреице травой, и эту траву будет волновать тот же ветер, который раздувал когда-то огонь...

Еще четыре раза падал на землю снег, засыпал летние холодные кострища и четыре раза по весне таял, оставляя после себя по косограм, по степным увалам сибирские подснежники, самые ранние цветы. Белые, синие, желтые, как цыплята, и так же, как цыплята, покрытые шелковым пушком, бесхитростные цветы эти ослепительно горели под весенним солнцем, и, если их было в одном месте много, всегда казалось, что снег там еще не стаял.

Димка, Дмитрий Савельев, любил эти цветы. Но он любил не рвать их, а просто смотреть, как они растут, качаясь на холодном еще ветру, как проживают недолгий свой век, изо дня в день поворачивая вслед за солнцем свой венчик из пяти широких лепестков. И всю весну с палкой в руках, в крепких крестьянских сапогах он ходил по степи, по увалам и косограм, иногда садился где-нибудь на припек, курил, размышляя о чем-то, поглядывая на молчаливые скалы Звенигоры, на угрюмо чернеющую кромку тайги. В тайгу эту, хотя и там расцветали подснежники, он не ходил. Там они были не степные, а лесные. И кроме того, ему нужен был, видимо, только простор.

Он приехал в Михайловку из Москвы еще зимой, когда лежали метровые снега.

— Поживу я у тебя, мама, немного. А может, и до осени.

— Да насовсем оставайся! — взмолилась Анна. — И председатель колхоза Поликарп Кружилин вон говорит — пусть остается, дом вам поставим. Пусть живет и ничего не делает, только стихи свои пишет.

— Нет, совсем я не могу... А бывший председатель, мой дядя Иван, где сейчас?

— Да он теперь директором совхоза «Степной».

Дмитрию уже шел тридцать четвертый, он был еще не женат.

Когда он пожил несколько дней, мать осторожно спросила, вздохнув:

— Все по ней, по Ганке этой, маешься?

— Все по ней, — ответил он.

— Да сколько ж можно, сынок? Она тебе даже не пишет. Вон девчат каких сколькоросло...

— Это для других, мама. А мне она нужна. И она вернется, — сказал он уверенно.

Анна лишь вздохнула еще раз.

Да, Ганка не писала давно, много-много лет. Они расстались еще весной сорок четвертого, вскоре после того как освободили от немцев Винницу. Весенний день тот был солнечным, так же, как нынче, цвели подснежники, и Громотуха, на берегу которой они прощались, была вся, до самого горизонта, в цветочных бликах.

Там они и поцеловались — в первый и последний раз.

— Дим, — сказала она ему потом, смущенная, — а второй раз ты меня поцелуешь, когда к нам на Украину приедешь.

— Это когда... сад зацветет?

— Когда сад, — кивнула она. — А может, раньше... Это как получится. А пока переписываться будем. Часто-часто...

«Часто-часто» они переписывались не один год, а потом, когда Дмитрий заканчивал уже Томский университет, а она — Харьковский и когда выросли и расцвели, наверное, уже те сады, которые Ганка обещала посадить, письма от нее стали приходить реже, а потом и вовсе перестали. Он слал ей свои, а она молчала, он тратил стипендию на телеграммы, а в ответ — ни звука. И наконец она откликнулась: «Дима, Дима, прокляни меня, если сможешь... Я встретила одного парня...»

Письмо было длинное, со слезами, с бесконечным и жестоким самобичеванием. Но все это можно было бы и не писать, главное было сказано всего в четырех словах.

И слова эти чуть не стбили ему диплома, но он взял себя в руки, послал ей недлинную телеграмму: «А для меня в мире другой все-таки не будет» — и с удвоенной силой принялся за подготовку к государственным экзаменам.

Телеграмм он ей больше не слал, а писал не часто и не редко письма. Такие вот:

Мне кажется,
Что свет сошелся клином,
Что нет других,
Что в мире ты одна.
Не потому ли
В крике журавлином
Мне слышится
Не осень, а весна?
Но всюду осень...
Каждый легкий шорох

Листвы —
Ее роняет клен —
Стал для меня неимоверно дорог,
Наверно,
Потому, что я влюблен.
Наверно, потому
И легкий ветер,
И золотого утра седина
Мне говорят,
Что ты одна на свете,
Моя неходящая весна.

Письма эти он слал без подписи, но она знала, от кого они. Но Ганка не отвечала. А он снова ей писал:

Петушинный крик все тише,
Бабе лето позади.
Третий день стучат по крыше
Равнодушные дожди.
Третий день по всем дорогам
Не спеша ручьи бегут.
Третий день пастух не трогал
Звонкий рог и хлесткий кнут.
Третий день в избе-читальне
Книги, игры — нарасхват.
Третий день путем недалгим
Едет киноаппарат.
В небе пасмурном, бездонном
Ветер носится, трубя.
Жду напрасно почтальона —
Нету писем от тебя.

Окольными путями Дмитрий узнал, что она вышла замуж и после окончания университета стала работать учительницей в Виннице, в одной из средних школ. И он начал писать ей туда, в школу. За последние десять — двенадцать лет он написал ей великое множество писем. Они не возвращались обратно, но ни разу она не дала ему знать, что получать их ей неприятно, чтобы он со своими стихами оставил ее в покое.

Его постоянно обуревало желание поехать в эту Винницу, которая была, как ему казалось, где-то невообразимо далеко, за семью морями, чтобы поглядеть на Ганку хотя бы издали, самому оставаясь незамеченным. И однажды он не устоял — поехал втайне от всех и будто даже от самого себя.

Он разыскал школу, где она работала, выбрал в школьном скверике, в самом его углу, скамейку, откуда была видна входная дверь. Держа наготове газету, чтобы в случае чего ею закрыться, стал ждать конца уроков и ее выхода.

Она вышла в компании трех или четырех молодых женщин, видимо, тоже учительниц, и он, забыв про свою газету, словно прикипел к скамейке, недвижимый. Это была она, Ганка, и не она! Она стала взрослее и... еще красивей. Он издали увидел ее глаза, глубиной и таинственностью которых всегда поражался, и почувствовал, как сердце его лопається от боли...

Ганка о чем-то перемолвилась с женщинами, рассмеялась и пошла в противоположную сто-

рону. А Дмитрий все сидел и сидел на скамейке, не ощущая времени, не понимая уже, где и зачем сидит. Перед ним стояла ее улыбка, он видел блеск ее глаз, в ушах звучал ее смех...

В Москву он возвращался полностью опустошенный и словно чем-то пристыженный. И больше своему мучительному искушению не поддавался.

Нынче он приехал в Михайловку, когда лежали еще метровые снега, теперь они стаяли, цвела земля подснежниками, обливало ее щедрое весеннее солнце, и по-весеннему весело и запыленно кричали птицы — одни уже вили гнезда, другие собирались их устраивать, а на душе у Дмитрия, как всегда в такие дни, было грустновато, пусто. Но ему хорошо работалось, в пустой будто бы душе рождались мысли, слова и строчки, они превращались в стихотворения, которые, он знал, будут лучшими в его будущей книге.

Днями он бродил по полям, разговаривал с председателем колхоза — семидесятидвухлетним стариком Кружилиным, который на память знал чуть ли не все его стихи, с безногим бухгалтером Инютиным, с колхозниками. Дмитрий знал здесь всех, и его знали все. А ночами писал, писал, спать ложился только под утро...

Анна Михайловна Савельева вот уже много лет изумлялась тому, что получилось из среднего сына. Поэт, стихи пишет, песни всякие, их вон даже по радио иногда поют — да с чего это? Откуда это у него? И где он слова-то отыскивает такие? Ну, обыкновенные вроде слова, а так уложены в строчки, что хватает за душу. Особенно нравилась ей вот эта его песня:

Тихо яблоня цвела
Над дорогою.
Я под солнышком росла
Недотрогою...

Анна плакала, когда слушала по радио эту песню, и думала, что он, Димка, написал все это о ней, о ее нескладной и горемычной судьбе. Нет, он никогда не спрашивал о ее далеких-далеких теперь отношениях с Федором, с Иваном. Но ведь написал, что всегда ждала любимого, синеекого. Это же он, Иван... Глаза у него не синие, а серые, но это он. И ждала... Сама о том не думала, а было так. Но пришел другой, Федор, все растоптал, раздавил своими безжалостными сапожниками, всю молодость и всю жизнь, которая снова уж не начнется, не повторится. Вот какая долюшка... О том и предупредил когда-то давным-давно, этот... изверг (отца своего Анна даже в мыслях никогда не могла назвать отцом). Установят, мол, предупредил он, эту новую жизнь, которую ты человеческой называешь, за которую ты со своими

партизанами бьешься, а тебя в эту жизнь и не пустят, рано или поздно припомнят, чья ты дочь...

Но эти горькие раздумья были обычно недолгими. Никто и никогда не припоминал, думала она потом, чья она дочь. Жизнь была тяжкая и несладкая, это верно, да не потому, что она дочь бывшего богача Кафтанова, а потому, что встретилось на пути это исчадие ада — Федор. Из одного гнезда, а разные птенцы. Коршуном оказался. А ей орлом представлялся, господи, какие девки в молодости все глупые! Но какой ни тяжелой судьба ее оказалась, а ведь не выбросил ее никто из этой новой жизни, даже Федором никто не попрекает. Нет, и жизнь она прожила не напрасно и не бесплодно, и сыновей вырастила каких надо: старший, Семен, дрался с фашистами без страха, медалью и орденом Ленина награжден, сложил голову за землю свою. Он сложил, а младший, Андрей, офицер Советской Армии, старший лейтенант, теперь стоит на ее защите. Сын средний, Дмитрий, рассказывает людям, какая она красивая и привольная, земля эта, за которую пал где-то Семен и многие-многие тысячи таких, как он, молодых и веселых.

Да ведь она, Анна, счастливая!

И она брала книжки сына, которых накопилось у нее уже с полдюжины, перелистывала их, останавливала свой взгляд на строчках и четверостишиях, особенно ее чем-то поразивших.

Анна знала, что среднему ее сыну живется не так-то уж и легко там, в Москве, что в газетах и журналах его иногда поругивают за какую-то однозначность, монотонность, патриархальщину в его стихах, за серость... Где эта серость и однозначность, она не понимала, почему добрые, идущие от самого сердца слова сына о родной земле называют «квасным патриотизмом» — уразуметь не могла: «Стихи — дело не простое, — думала с грустью иногда она. — Может, я в них ничего и не понимаю, а пишут про Димку, про то, что он сочиняет, умные люди, им виднее...»

В середине апреля, как обычно, вскрылась Громотуха, и Дмитрий весь день смотрел на ледоход, на освободившиеся от ледяных оков могучие воды, которые легко и свободно несли на себе большие обломки крепкого зимнего панциря, уносили их вдаль, за Звенигору. Вернулся поздно, поужинал.

— Ты ложись, мама, а я поработаю немного, — сказал Дмитрий, как всегда.

Она легла, а он всю ночь сидел на кухонке, писал, шелестел исписанными листами, часто рвал их и бросал под стол. Утром Анна выгребала их оттуда.

Выгребла она их и утром шестнадцатого апреля. Когда запылала весело печь, бережно взяла с кухонного стола один из двух листков, исписанных мелким почерком сына, стала их

рассматривать. За ночь он написал целых два стихотворения.

Одним из них было очередное письмо к Ганке.

Прочитав его, Анна смахнула слезу и подумала не о той маленькой Ганке, которая появилась у них в Шантаре, в их доме в первые месяцы войны, и не о той, которая уехала с матерью, Марьей Фирсовной, перед самой Победой, а о какой-то незнакомой, злой и бессердечной женщине, которая так мучает ее сына. Та Ганка не смогла бы выдержать, у нее было доброе сердце, она приехала бы давно. А эта... Ну, и эта придет! — вдруг что-то переместилось, изменилось в Анне. Он, Димка, правильно говорит — она придет, не сможет она ни с кем жить, кроме ее сына, бросит того, своего...

Она думала об этом без всякой жалости к тому, с кем жила Ганка, думала даже с ненавистью, и ей в голову не приходила даже мысль — хорошо или плохо, что она так думает. Она была мать, и в данную минуту для нее ничего на свете не существовало, кроме счастья и покоя ее сына.

Листок со стихотворением она отложила в сторону.

Другое стихотворение, написанное сыном за прошедшую ночь, ее потрясло:

Представь себе:
Отныне солнца нет.
Застыли родники, пожухли травы,
А ты — живешь
И не имеешь права
Поверить,
Что отныне солнца нет.
Не веришь ты,
Но видишь —
Солнца нет.
Как страшно знать,
Что нет на этом свете
И той звезды,
Что в горький час осветит
Твою дорогу радостей и бед.
Да, солнца нет!
Темно в твоих очах.
И сердце начинает гулко биться,
И, ветром опавнув,
Ночная птица
Скользит неслышно около плеча.
Ни молнии. Ни радуги. Ни зги.
Лишь вороны с проворным криком вьются,
Да суетно
Во мраке раздаются
Недобрых дел жестокие шаги.
Вся грязь и ложь повылезли наверх.
Над вечной правдой вызрела неправда.
Ты спрашиваешь:
— Что же будет завтра? —
И слышишь той неправды жуткий смех.
Ты убедился
В том, что солнца нет?
Но есть надежда,
Убедившись в этом
Вернуть земле хотя б частицу света,
Что дал тебе когда-то солнца свет.
Ну, где она?
Похоже, растерял.

Растратил свет
 Еще при свете солнца.
 И там, где было яркое оконце,
 Зияет черной пустоты провал.
 Но все ли растеряли искры свет,
 Что сердцем,
 Словно кремнем, высекают?
 Не все!
 Ты видишь — искры возникают,
 Им нет числа,
 Как и названья нет.
 Фантазия...
 Но ты, мой друг, пойми,
 Что солнце
 Лишь до той поры пребудет,
 Покамест на земле
 Он дорог людям —
 Тот свет,
 Который сделал их людьми.
 И ты огонь души своей не тронь
 До той поры,
 Пока не пригодится...
 И возникают
 Предо мною лица
 Людей,
 Что не растратили огонь.

Анна долго сидела, оглушенная, уронив на колени руки с зажатым в них листком, исписанным мелким почерком сына. Мысль этого стихотворения она поняла сразу, сидела и думала, чью жизнь имел в виду сын, когда писал все это, — свою, ее, Поликарпа Кружилина, дяди своего Ивана, отца своего, о котором никогда не говорил, который был вычеркнут из памяти раз и навсегда, словно бы его и не было, не существовало никогда. Каждая строчка стихотворения, когда она его читала, рождала в ее сознании те или иные яркие картины из прошлого, что она переживала сама, чему была свидетелем... Или он имел в виду жизнь сразу всех, кого знал, с кем приходилось и приходится жить на этой земле? Наверное, так. Конечно, так это! Как уж там у других было, Анна не знает, но для нее и представлять нечего, солнце для нее нечасто было. «Как страшно знать, что нет на этом свете и той звезды, что в горький час осветит твою дорогу радостей и бед...» И в глазах темно бывало, и недобрые шаги во мраке она слышала, и нередко она думала, что над правдой взяла верх неправда... И сын, ее Димка, который спит сейчас безмятежно и крепко, все это знает. Но он знает и другое — каждое доброе сердце искру высекает, а таким добрым людям числа нет. Это опять же и сам Димка, и покойный Панкрат Назаров, и Кружилин, и Семен — ее сын и его брат, и его дядя Иван... И сколько, сколько еще, живых и мертвых, которые когда-то жили и высекали для других искры света. Какой бы жуткий смех неправды ни раздавался на земле — он захлебывался рано или поздно в бессильной злобе своей, потому что нет числа тем людям, которые огонь в душе не растратили, не растеряли...

Так сидела Анна и думала, пока не стукнул

кто-то в окошко. Она обернулась, в рассветном полумраке различила колхозную почтальоншу.

— Письмо тебе от сына из Ленинграда, — сказала та и через открытую форточку передала конверт.

Письмо поначалу было обычным — Андрей сообщал о домашних делах, что сын и дочь, которыми он обзавелся к тридцати годам, здоровы, что служба идет у него нормально. А затем шли строчки, которые заставили Анну вскрикнуть:

— Дима, сынок! Проснись!

«Мама, — писал Андрей, — по-моему, мы с женой напали на след нашего Семена. Рая лечила одного норвежского туриста по имени Сигвард Эстенген, который приехал к нам в Ленинград из норвежского города Бреннэсунн, и у него случился приступ острого аппендицита. Рая делала ему операцию и спросила, отчего у него все тело в рубцах? Это, говорит, от немецких плетей. Оказалось, что он сидел в концлагере возле финского города Рованиеми. А там, как рассказывал всем вам и мне в прошлом году, когда я приезжал к вам, Петр Викентьевич Зубов, сидел же наш Семен! Когда норвежец выздоровел, мы пригласили его к себе домой, показали фотографии Семена. Да, говорит, вроде бы он похож на одного человека, который был в этом лагере Рованиеми и которого вместе с Эстенгеном немцы угнали в сорок четвертом году в Норвегию, но точно утверждать не может, потому что лет-то сколько прошло, да и вид лагерников был понятно какой. Потом этот человек, по рассказам Эстенгена, организовал побег заключенных, участвовал в движении норвежского Сопротивления, был в каком-то небольшом партизанском отряде. Вот как, мама, и в Норвегии были партизаны! Но звали его, как говорит Эстенген, не Семен, а «русский Савелий». Он, к сожалению, погиб, близ города Бреннэсунн есть его могила. Мама, мне почему-то кажется, что это наш Семен, наш Семка! Норвежцы могли его и так звать. Что я предлагаю, мама? В июне у меня будет отпуск. Давайте поедем в Норвегию! Ты, я, жена Семена Наташа, Димка. Эстенген говорит, что жив еще один человек из норвежского партизанского отряда, в котором был «русский Савелий». Мы разыщем их, поговорим с ними. Надо захватить с собой все фотографии Семена, какие у всех у нас есть. Где сейчас Димка — в Москве или там, у вас? По весне он всегда ведь в Михайловку приезжает. Обговорите там все и сообщите мне, я постараюсь быстро оформить поездку в Норвегию на четырех человек, мне помогут в этом. Рая в связи с какими-то очень ответственными операциями с нами поехать не сможет, к сожалению, но на обратном пути мы ее захватим и махнем все вместе в нашу Михайловку, в гости к тебе, мама... Жду от тебя сообщения по этому во-

просу. Если это наш Семен — будем хоть знать, где его могила...»

— Димушка, сынок! — сорвалась с места Анна, на ходу вытерла оплть проступившие слезы. — Да проснись, проснись, вставай же!

Семен или не Семен лежит под строгим невысоким обелиском, стоящим у подножия отлогого плоскогорья близ города Бреннёсунн.

На темно-сером гладком камне строгими буквами было лишь высечено «Russeren Saveli». И чуть пониже еще одна строчка: «Norge takker deg»¹.

Андрей Савельев — не очень высокий, широкоплечий, в гражданской одежде, разительно похожий на Семена. Дмитрий, Наташа, Анна и норвежец Эстенген долго стояли перед этим камнем, все молчаливые и угрюмые. Отсюда видно было море и остров Ульвинген — длинный, черный, почти голый, на острове различались квадратные коробки небольших домиков, тоже черных, с красными двухскатными крышами.

С моря дул влажный и теплый ветер, овеивал этот невысокий обелиск, шевелил жесткую ярко-зеленую траву под ним и пестревшие в ней крохотные цветы, похожие на ромашки. Цветы эти никто не сажал, они выросли сами, и траву никто не сеял, не было никакого могильного холмика, просто стоял на земле камень, и все, а за ним вздымалось к низкому северному небу длинное плоскогорье, поросшее такой же травой. Анна смотрела на этот камень сухими глазами, в плотно сжатых губах ее была немая старческая тоска. Наташа держала ее под руку — то ли поддерживая на всякий случай Анну Михайловну, то ли опираясь на нее. Она постарела, Наташа, как-никак, а годы подходили к сорока, но сейчас на щеках от волнения ярко горел румянец, глаза блестели, и лишь плечи, хотя и не обмявшие еще по-старушечьи, как у Анны, словно постоянно были под невидимым грузом, и в эти минуты груз стал еще тяжелее.

— Таких могил в Норвегии много, они разбросаны по всей нашей стране, — негромко проговорил Эстенген. Это был улыбчивый и добрый человек лет под шестьдесят, ходивший с палкой, он хорошо говорил по-русски. — Есть у нас люди, которые хотели бы могилы советских людей уничтожить... чтобы их не было. Норвежский народ этого не позволит. Эти могилы должны нашим детям напоминать о местной борьбе с фашизмом.

К могиле «Русского Савелия» они отправились в тот же час, как сошли в Бреннёсунне с парохода, где их встретил Эстенген. А вечером сидели в его небольшом домике, сложен-

ном из тесаного камня, жена Эстенгена, у которой было красивое имя Ингрид, поставила на стол большое блюдо с рыбой, тарелку с коричневатым козьим сыром — он оказался сладким, — масло, тоненько нарезала белую булку, налила всем в крохотные чашечки кофе, а сам Эстенген между тем рассказывал:

— С вашим сыном, Анна Михайловна, я познакомился еще в Рованиеми на заготовке торфа...

— Вы уверены, что это он, Семен? — в который раз уже спрашивала Анна. — Посмотрите еще!

И в который раз старый норвежец брал из ее рук фотографии Семена, долго и внимательно рассматривал. На них он был еще мальчишкой, лишь две небольших фотокарточки сделаны в сорок втором году — один раз он сфотографировался для военкоматских документов, и Анна перед отъездом выпросила в Шантарском военкомате эту крохотную фотографию, в Ленинграде уже сделала с нее увеличенную копию, а другой — перед отъездом на фронт, вместе с Наташей. Будто зная, что расстанутся навсегда, она уговорила тогда его сняться на память. На этой карточке Семен был в распахнутой рубашке, рядом с Наташей он сидел скованно, но лицо его пропечатано было хорошо, эта фотокарточка оказалась основной.

— Я думаю, это был он, — говорил Эстенген медленно. — Он был худ до невозможности, как и все мы, на щенах грязная щетина... Но глаза... Я уверен, что это он... Торф этот мы копали до самой отправки в Норвегию. Можете представить, какие мы были тогда, если с утра до вечера ходили по колено в холодной болотной жиже. Какого-нибудь дýша, а тем более — бани нам не полагалось. От холода руки и ноги у людей неожиданно скрючивало — таких немедленно расстреливали, потому что работать они уже не могли. Мы с Савелием выдержали. Да, да, его еще в финском лагере называли «русским Савелием». Мы с ним выдержали, только я до конца жизни не вылечу свой ревматизм...

— А Зубова, Петра Зубова, вы не знаете? — спрашивала Наташа. — У Семена в этом финском лагере был товарищ по фамилии Зубов. Они всегда были вместе...

— Не знаю, — качал головой норвежец. — Товарищ... Товарищи были там у каждого, но мы это скрывали. Немцы не любили, чтобы заключенные становились товарищами... Они медленно принимали, понимаете, меры... разные. И товарищи навсегда разлучались. Савелий... или Семен был молчалив, но, по-моему, у них была в лагере своя подпольная русская секция и они готовили побег или восстание, и Савелий в этом активно участвовал. У нас была своя, норвежская, руководители секцией как-то были между собой связаны. Но руководи-

¹ «Русский Савелий». «Норвегия благодарит вас» (норвежск.).

телей секций мало кто знал, это было опасно. Но восстание готовилось, это все знали...

— Да, и Зубов говорил же, мама, что готовилось, — сказал Дмитрий. — Когда наши фронт в Заполярье прорвали, особенно активно началась подготовка.

— Верно, так, — кивнул Эстенген. — И немцы об этом догадывались. Чтобы нарушить эту подготовку, все связи оборвать, они осенью сорок четвертого стали часто переводить большие группы заключенных из лагеря в лагерь. А нас, нашу группу, в которой оказались мы с Савелием, погнали в Норвегию. Разумеется, вначале мы не знали, куда нас ведут. Шли много дней, под ногами была такая же грязь, как в болотах. Знали только, что на север идем, кругом — тундра. Я идти уже почти не мог, ноги не слушались, я боялся все, что их сведет судорогой. И тогда бы... Автоматчики с собаками всегда шагали рядом... Но последние несколько дней меня почти тащил на себе Савелий. Он спас мне жизнь таким образом... И однажды под вечер все мы увидели пограничный столб. На одной стороне столба надпись — «Суоми», на другой — «Норге». Сердце мое забилося, в ногах сил прибавилось... Это было где-то в середине октября. Савелий мне сказал...

— Почему вы все его Савелием называете? — спросил Андрей.

— Да, да, Семен... Но так его никто не называл.

— Что же он, Семен, сказал вам? — Андрей сделал на имени ударение.

— Он сказал: держись, Сигвард, ты на своей родине. Если все норвежцы такие славные люди, как ты... мы здесь не пропадем. Он так и сказал — если такие славные, как ты...

— Я слышал, что даже ваш тогдашний король призывал к борьбе с фашистами, — опять проговорил Андрей. — Правда это?

— Да, да, — встрепенулся Эстенген. — Король Хокон... Он жил тогда в Лондоне.

— При опасности короли первыми покидают свою страну, — усмехнулся Дмитрий.

— Это так, — кивнул Эстенген. — Я человек рабочий, рыбак. Я не монархист, как вы понимаете. Но скажу вам — Хокон простой народ уважает за то, что он сказал: «Долг каждого норвежца — оказывать советским союзникам самую большую поддержку».

— Союзникам, а не самим русским, выходит, — буркнул Дмитрий.

— А тем не менее слова короля норвежцы поняли как надо, — возразил Эстенген. — Никаких союзных войск в Норвегии не было. Лишь было немало советских пленных, многие из которых, как потом Семен, сумели бежать. Норвежцы укрывали их. Я не помню случая, чтобы норвежец, если он не квислинговец, выдавал беглецов.

— Ну, фашисты — везде фашисты, хоть

германские, хоть норвежские, — проговорил Дмитрий.

— Это так, — опять кивнул Эстенген. — И король, конечно, есть король. И все-таки эта речь короля по лондонскому радио в конце октября сорок четвертого года очень помогла нам в борьбе с оккупантами. Хокон говорил тогда, что в национальной борьбе норвежские коммунисты стояли в первых рядах боевых сил народа против угнетателей и против тех, кто не стремится к развитию Норвегии на основе конституции... И что путь демократической Норвегии — это честное сотрудничество всех патристических сил, в том числе и коммунистов.

— А он сам, случайно, не вступил в партию, король ваш? — опять бросил Дмитрий.

— Перестань, — сказал Андрей. — Тут же все ясно. В Норвегии были могущественные силы, которые поддерживали Гитлера. Король боялся, что эти силы придут к власти после войны, поэтому и заигрывал с народом.

— И это — так, — в третий раз согласился Эстенген. — Но тогда эта речь, возможно, спасла жизнь Семену и мне.

— Да? — спросил Дмитрий все-таки насмешливо.

— Да. — Эстенген мягко улыбнулся, прося Дмитрия этой улыбкой успокоиться и быть благодарным. — В конце октября нас пригнали в город Харстад. Ночью, под проливным дождем, погрузили в трюмы каких-то барж, стоящих в Анс-фьорде, куда-то повезли. Мы были голодны, немцы несколько дней нас не кормили. Но в трюме мы обнаружили большой ящик копченой рыбы. Понимаете, настоящей рыбы, которую мы не видели целую вечность. Не немцы же это туда поставили. И там же, в ящике, — нелегальную листовку норвежских подпольщиков с выдержками из этой речи короля Хокона. Я перевел ее Семену... Он ничего не сказал по поводу этой листовки, но... Баржи были старые, никому не нужные. Мы думали, что нас отвезут в открытое море и вместе с баржами пустят ко дну. Поднялась паника, и лишь Савелий...

— Семен, — поправил Андрей.

— Да, Семен... Он вышел на середину трюма и закричал, требуя перевести его слова всем. В барже были и норвежцы, как я, и финны, и голландцы, и поляки. И много других. Он потребовал спокойствия. Если бы фашисты хотели нас уничтожить, говорил он, они бы сделали это еще в болотах тундры. Но не сделали, значит, мы им зачем-то нужны... Логика в его словах успокоила всех. Слушаться меня, потребовал он... Да-а, он, понимаете ли, оказывается раньше других понял значение этой речи короля. Он спросил меня на другой день с улыбкой: «Норвежцы, Сигвард, слушаются своего короля?» — «Иногда...» — пошутил я. «Понятно, — сказал он. — Самое время теперь — бе-

жать, едва представится хоть малейшая возможность».

— И когда... она представилась? — спросила Наташа нетерпеливо.

— Дня через три, кажется, — подумав, ответил Эстенген. — Во время всего пути нас не кормили, рыбу мы, понятно, давно всю съели. Мы уже стояли, где-то сверху, по палубе баржи, слышны были шаги охранников. Судя по этим шагам, охранников было всего двое. «Где мы стоим, определить! — потребовал Семен. — В Норвегии или нет?» Трюм был глухой, без иллюминаторов, он освещался двумя керосиновыми фонарями. Но это было в начале пути, потом керосин кончился, мы плыли в темноте. Мы стучали снизу в крепкий люк, требуя еды и света, нам никто не отвечал. Лишь один раз шаги сверху приблизились, люк отмахнулся, охранник полоснул вниз из автомата, и люк тут же захлопнулся. По счастью, никто не был убит... Да, Семен потребовал определить, где мы стоим... Его слушались уже беспрекословно... Я забыл сказать, что в ящике с рыбой лежал большой и крепкий нож, предусмотрительно оставленный там кем-то. Этим ножом мы просверлили небольшое отверстие в ржавой металлической стенке баржи, со спичечную головку всего. Я приник глазом к отверстию, вижу, что Норвегия, — огни во фьорде отражаются. Этого было достаточно. А стояли мы, оказывается, вот здесь, возле Бреннэсунна. — Эстенген показал за окно. — Я не мог этого определить, потому что до войны жил не здесь, а в Тронхейме. Я после войны поселился здесь...

— И как же вы... потом? — спросила Наташа, принимая от молчаливой жены Эстенгена новую чашку кофе взамен прежней, остывшей, но нетронутой.

— Семен... это был бесстрашный человек. Он всем объяснил, что ночью надо потребовать воды у охранников, для чего всем кричать, стучать в железные борта деревянными колодками. Вода у нас в бочке действительно кончилась... Уж воду-то они должны дать, сказал он. А если вздумают опять утихомирить из автомата, переждать стрельбу и опять кричать и стучать. И так без конца. В конце концов они вынуждены будут дать воды. В этот момент важно как-то завладеть люком, ведь охранников всего двое. А там — в воду и к берегу вплавь. Дальше уж кому как повезет...

— И что же? — спросил нетерпеливо Дмитрий.

— Так все и получилось. — Эстенген отпил кофе из своей, тоже остывшей, чашки. — Сначала Семен, постучав в люк, вежливо попросил воды. Немцы оставили это без внимания. Он попросил еще — тот же результат. Тогда мы подняли невообразимый шум, немцы, не открывая люка, ударили из автоматов, мы слышали, как стучат пули о железную палубу. Мы умолкли.

Немцы загремели ведром... Через некоторое время открылся люк, немец, не выпуская автомата, стал подавать сверху ведро с водой. Но Семен, беря будто бы ведро, схватил немца за руку и дернул вниз, а сам мгновенно очутился на палубе уже с немецким автоматом. Когда немец падал, он вырвал у него оружие.

— А другой охранник? — воскликнула Наташа испуганно,

— О-о! — улыбнулся норвежец. — Вы не знаете своего мужа. Что для него один охранник, если он уже был на свободе и в руках у него оружие. Он его убил.

— Убил...

— Да, я это видел... Я выскочил вторым. «Живо за борт!» — закричал Семен, снова подбегая к люку. Оттуда бесконечной цепочкой появлялись пленные, бежали к борту и прыгали в холодную воду. Берег был совсем близко, но там уже выла сирена и по фьорду шарили прожекторы. Потом от берега понесся к нашей барже катер с немцами. «Савелий! — крикнул я. — Пора и нам в воду!» Мы с ним прыгнули... Сначала плыли вместе, а потом...

Эстенген торопливо стал глотать свой кофе. На этот раз никто не проявлял нетерпения, в комнатке с белыми обоями стояла тишина.

— Вы представьте картину, — негромко попросил Эстенген, допив кофе. — Черная ночь, на черной воде мечутся полосы прожекторов. Между ними с ревом крутится небольшой катер, и с обоих бортов немцы хлещут из автоматов по плывущим к берегу людям! Многие не доплыли... «Ныряй!» — каждый раз кричал Семен, когда катер приближался к нам. Это было последнее его слово, которое я слышал. В какой-то момент мы потеряли друг друга из вида. И уже — навсегда. Навсегда...

Эстенген долго потом глядел на свою пустую чашку.

— Когда я, окоченевший, добрался до берега, меня укрыл в сарае портовый рабочий, отец Ингрид.

Жена Эстенгена, услышав свое имя, что-то сказала по-норвежски и закивала, улыбаясь.

— А Семена — Гюри Кнютсен, дочка старого рыбака. Кнютсены жили тогда на самой окраине Бреннэсунна, там, в камнях, Гюри и нашла его, увела в свой дом. Он в воде был ранен, оказывается, в голову и плечо. Она жила одна, отца ее замучили в концлагере на острове Ульвинген за то, что сын его, Харалд, был антифашистом и партизаном. Когда Семен немного окреп, Гюри отвела его в горы, к брату. Это все мне стало известно уже после войны. Но еще в феврале сорок пятого я узнал, что Семен жив. Здесь, в Бреннэсунне, той зимой, был взорван кинотеатр, в котором погибло много фашистов и наших квислинговцев. По городу расклеили объявление, что сделал это «бежавший русский бандит по имени Савелий», за его го-

лову немцы назначили награду в пятнадцать тысяч марок.

— Погодите! — сказал Андрей. — В этом объявлении — был его портрет?

— Нет. Портрета не было. Только, помню, приметы — рост средний, глаза серые, волосы светлые.

— Это он, он! — воскликнула Наташа и схватила Анну Михайловну за руку. Но та, все время молчавшая, и на этот раз ничего не ответила, лишь качнула головой, не то утвердительно, не то отрицательно.

— Этого объявления или листовки у вас нет?

— Нет, — сказал Эстенген. — Там было еще написано, что этот русский Савелий — извините, обросший, как обезьяна. Так было написано... Может быть, у Харалда Кнютсена есть? Гюри умерла после войны, а он жив. Он живет сейчас в Тронхейме, мы к нему поедem, тут не очень далеко. Он был свидетелем, как погиб «русский Савелий»... или Семен.

Анна, как только все они сели на теплоход в Ленинграде, умолкла, весь путь до Осло не проронила почти ни слова, часто стояла одна на палубе, кутаясь от ветра в шерстяной платок, смотрела на белесые балтийские волны, о чем-то бесконечно думала. Сыновья и Наташа старались ее не беспокоить, но из вида не упускали.

Почти не разжимала губ она и в Норвегии. Ее не поразил ни живописный Осло-фьорд со снующими, как челноки, разноцветными маленькими суденышками, меж которых, словно расталкивая их, проплывали, не торопясь, огромными ледяными глыбами многопалубные теплоходы, ни сам Осло — шумный, пестрый, многолюдный. Равнодушно потом смотрела она, как за окном крохотного вагонного купе на двоих мелькают вывески с нерусскими буквами, белые — металлические и красные — черепичные крыши домов и домишек, большие лодки с полосатыми тентами на каких-то озерах. Лишь когда поезд, вырвавшись из города, врзался в лесной массив, она удивленно вскрикнула:

— Гляди-ка, Наташа, березки!

Поезд шел долинами, по сторонам которых полого вздымались плоскогорья — знаменитые норвежские фельды, то совершенно голые, то поросшие разнотравьем, иногда к самой железной дороге подступали густые и мрачные, как в самой Сибири, еловые или сосновые леса. Но Анну это больше не волновало, она опять была задумчивой и какой-то одинокой.

До самого Бреннэсунна железная дорога не доходила, они высадились в Намсусе, небольшом и мрачном городке, сели в прокопченный и вертлявый на воде теплоходик, на котором и доплыли часа за три до Бреннэсунна. И сказочно красивые в это время года норвежские

заливы — фьорды, которым даже за этот короткий отрезок пути не было числа, не произвели на нее никакого впечатления. Мрачно смотрел на эти заливы, на врезающиеся далеко в море высокие горные уступы и Дмитрий. Да и Наташа. Лишь один Андрей весь путь простоял на крохотной палубе с широко открытыми от восторга глазами и перед самым Бреннэсунном сказал:

— Волшебство какое-то! Я все это и сам хотел посмотреть, и вам показать, а вы...

— Разве за этим мы едем сюда, сынок?

— Не за этим, мама, — смутился Андрей. — Но за эту красоту наш Семка жизнь отдал.

— Он отдал ее за свою Родину! — зло проговорил Дмитрий. — Понятно тебе?

— Понятно. Я же говорю в условном смысле...

— А я в конкретном. Не люблю условностей...

— Дима, Андрюша! — попросила Наташа. — Не ссорьтесь.

— А мы не ссоримся, — отвечал Дмитрий. И с какой-то угрозой кому-то пообещал: — Я стихи об этом напишу. Конкретные. О том чувстве, которое было здесь у Семена и у таких, как он.

В Тронхейм потом они ехали тоже морем. вдоль побережья. Харалд Кнютсен, предупрежденный Эстенгеном, встретил их в порту. Он оказался человеком тоже пожилым и сердечным. Но русского языка почти не знал, если не считать отдельных слов, которым он, по его признанию, научился от «русского Савелия». Эстенген был превосходным переводчиком.

Когда Анна подала Кнютсену фотографии Семена, он сразу весь вспыхнул:

— О, да! Это он, наш русский Савелий! — Потом обмяк, виновато опустил покатые плечи. — Очень, очень похоже...

— Похоже — или точно он? — спросила Наташа.

— Вы знаете, сначала мне показалось... Но с уверенностью я не могу сказать. Он, русский Савелий, пришел к нам в горы небритый, моя сестра Гюри его привела. Он был сильно ранен. Раны у него еще болели. У нас была партизанская группа в семь человек всего. Он был восьмым. Он был странным, все время почти молчал. Мы думали, потому что ранен. Но когда раны зажили, он продолжал молчать. И не брился почему-то, лишь немного подрезал бороду ножницами.

— Может быть, он вам... или вам, Сигвард, рассказывал что-либо о своей прежней жизни? — спросила Наташа.

— Нет, — сказали оба норвежца. А Сигвард Эстенген добавил: — Однажды он, кажется, сказал мне, что родом из Сибири. Да, это он сказал, а больше ничего...

— У вас не сохранилось листовки, в которой фашисты назначали цену за его голову? — спросил Андрей.

— Нет, к сожалению.

— Расскажите все, что вы о нем помните. Все, все! — попросила Наташа.

— Я же говорю — он в основном сидел и молчал.

— Как же так — сидел и молчал? Вы же партизанами были.

— О-о! — протянул Кнютсен. — Я читал, читал о русских партизанах. Но у нас было не так... Все — не так. Крупных отрядов у нас не было, у нас были небольшие группки по шесть — двенадцать человек. Мы укрывались в горах. Мы не воевали, как русские партизаны, не сбрасывали с рельсов поездов. Мы нападали иногда на маленькие немецкие гарнизоны, это было. На автомашины. Если военнопленные где-либо работали, а охраны было мало, мы пытались отбить пленных. Но концлагеря были в основном на островах. Понимаете? И мы, партизаны, выпускали подпольные газеты и листовки, чтобы информировать население о положении на фронтах. Для нашей группы это была основная задача. Мы имели у себя в горах батарейный радиоприемник и небольшую типографию. Когда мы слушали радиоприемник, записывали сообщения, составляли листовки, Савелий сидел и молчал. Целыми днями так. А потом брал гранаты или взрывчатку, если это у нас было, вставал на лыжи и уходил.

— Зачем же вы его пускали?! — вскрикнула Наташа.

— Он не слушался.

— Да вы же командир!

— Но он был русским... Мы не могли его заставить остаться. Он возвращался через несколько дней, и мы не знали откуда, он ничего не объяснял.

— Хороши партизаны, — усмехнулся Дмитрий.

— Да, у нас было так, — виновато сказал Кнютсен. — И мы по радио лишь потом узнавали, куда и зачем он ходил и что сделал... Немцы сообщали, что бандит по имени «русский Савелий» взорвал кинотеатр в Бреннёсунне или поджег теплоход с немцами в порту, испортил несколько паровозов в депо Тронхейма. Оказывается, он всегда посылал потом по почте в немецкую комендатуру письмо: «Сделал это русский Савелий. Я еще доберусь и до тебя, свинья Требовен...»

— Требовен — это рейхскомиссар оккупированных областей Норвегии, — пояснил Эстенген. — Савелий-Семен всегда делал такую приписку... Зачем он вообще посылал эти письма немцам — я не знаю. Не надо было этого делать, наверное.

— Да, но он это делал...

— Как погиб... он? — задала Анна вопрос, который никто задавать не решался. Она в Норвегии ни разу ни у кого и ничего не спрашивала, задала только этот, один-единственный вопрос.

— Это случилось в начале марта сорок пятого, на том месте, где стоит ему памятник. Мы возвращались из Бреннёсунна и попали в засаду. В город мы ходили за батареями для своего приемника и за продуктами. Была ночь, мела пурга, нас было четверо. Немцы окружили неожиданно. Мы отстреливались, пока были патроны. Во время перестрелки двое наших товарищей были убиты, остались только мы с ним. И патронов нет... Одна граната у Савелия. Противотанковая. Он взял ее у бреннёсунских подпольщиков для какой-то своей новой диверсии... И он мне сказал: «Я сейчас отвлеку их, а ты, Харалд, прикинься пока убитым, а потом иди к товарищам в отряд. Отомстите потом за меня...» Я не понял, как он собирается их отвлечь. А он закричал: «Schließen Sie nicht! Ich bin Russe, ich heiße Sawjeli. Ich ergebe mich!»¹ Эти слова произвели магическое действие, немцы стрелять перестали. А Савелий повторил: «Ich bin allein. Ich ergebe mich»². Он встал, поднял руки, пошел сквозь пургу. Я до сих пор вижу, как он идет с поднятыми руками, а вокруг него крутятся тучи снега... Он шел, будто окутанный дымом, на спине у него был парусиновый мешок...

— И что же дальше? — с трудом выговорил Андрей.

— А дальше... когда немцы окружили его... раздался чудовищный взрыв.

Едва он это произнес, послышался стон Наташи — короткий и мучительный. Он затих, и в небольшой квартирке Кнютсена установилась долгая тишина.

— Так это было... В начале марта, во время сильной пурги, — нарушил Кнютсен наконец безмолвие. — Взрыв был настолько сильным, что я думаю... у Савелия была еще какая-то взрывчатка в мешке. Пламя чуть до меня не достало... Что же мне было делать? Я воспользовался тем взрывом, отполз в темноте за камень, а потом побежал сквозь ветер и снег. Немцев там в живых почти не осталось, они не видели, как я уполз и побежал... Вот так произошло это. Пурга дула еще дня три или четыре. Немцы хоронить своих погибших солдат не стали, да и мы своих не смогли — все замело снегом. Своих мы похоронили уже весной, когда трупы вытаяли. Уже в конце апреля. В Бреннёсунне тогда еще были немцы, но война шла к концу, немцы собирались из Норвегии уходить, родственники тех двух наших погибших товарищей привезли их в город

¹ Не стреляйте! Я — русский Савелий. Я сдаюсь.

² Я остался один. Я сдаюсь.

в открытую, похоронили на городском кладбище, фашисты этому воспрепятствовать не осмелились. А Савелия мы похоронили именно там, где он погиб.

— Что же... от него осталось? — опять спросил Андрей.

— Да почти ничего, — неопределенно проговорил Кнютсен. Помолчал, вздохнул и еще раз промолвил, будто уточняя: — Совсем почти ничего... А через год поставили на могиле тот скромный каменный памятник...

На другое утро Анна, поглядев в узкое окошко отеля на матово-синий залив, на поднимающиеся с водной поверхности лоскутья тумана, на черные и как будто мокрые каменистые кручи, уходящие далеко в море, проговорила, обращаясь почему-то к Дмитрию:

— Поедем отсюда, сынок. Мне здесь тяжело.

Из Тронхейма до Осло снова ехали в скрипучем и тесном вагончике, в Осло пересели на теплоход. Теплоход был советский, ступив на палубу, Анна обессиленно вздохнула и посветлела лицом:

— Вот, уже будто и дома...

Когда подплывали к Ленинграду, она неожиданно спросила у Дмитрия:

— Ты стихи хотел, сынок, какие-то написать.

— Я их написал, мама, — негромко ответил Дмитрий.

— Ну, почитай.

Они все вчетвером стояли на палубе, теплоход шел по Финскому заливу, уже замедляя ход, впереди виднелись очертания города, медленно поднимавшегося, казалось, прямо из воды.

— Стихотворение называется «Чувство Родины», — сказал Дмитрий, глянув на Андрея.

— Это те, конкретные? — спросил тот.

— Те самые, — подтвердил Дмитрий и начал читать.

Он читал негромко, не спеша и почти без всякого выражения, делая иногда еле заметный акцент лишь на отдельных словах. Но именно такая манера чтения подчеркивала огромный глубинный смысл стихотворения, взволнованность самого Дмитрия.

Медленно
История листается...
Все пройдет,
А Родина останется,—

закончил читать Дмитрий.

У Наташи заблестели глаза. Андрей думал о чем-то, опустив голову. А потом поднял ее, произнес почти шепотом:

— Молодец ты у нас, Димка.

Анна ничего не сказала. Она, глядя на приближающийся город, лишь кивнула, то ли соглашаясь со словами младшего сына, то ли одобряя новое стихотворение сына среднего.

В конце июня и в начале июля в маленьком домишке Анны Савельевой было тесно и весело от голосов — тут жили Андрей с женой, Димка, Наташа с дочерью Леной, которая закончила второй курс Новосибирского педагогического института и приехала на каникулы. Женщины спали в доме, Андрей с Дмитрием — в старом прохладном сарае, стоящем в огороде. Днем все уходило на Громотуху купаться или ловить рыбу, лазали на Звенигору, добывая в ее ущельях огромные охапки горных цветов.

Однажды женщины потребовали показать им зловещее змеиное ущелье, о котором знал каждый житель Михайловки, да и Шантары.

— Да вы что?! — испугалась Анна. — Покусает же гадюки!

— Может быть, их там и нету теперь? — сказала Лена. — Перевелись.

— Не перевелись, доченька. Гады на земле никогда не переводятся...

После долгих разговоров и споров решили все же идти.

— Ничего, мам, глубоко мы в ущелье это не пойдем, — успокоил Андрей мать. — А женщины наши пусть испытают некоторое волнение в крови.

— А по пути я покажу всем еще кое-что интересное, — пообещал Дмитрий. — Не беспокойся, мам, мы же не дети, все будет нормально...

Гигантское каменное лицо, смотрящее в небо, произвело на всех, особенно на Лену, огромное впечатление. Небольшая ростом, быстрая в движениях, она возле старой сосны будто сама окаменела, в глазах ее, опущенных густыми ресницами, застыли удивление и какой-то немой крик.

— Дядя Дима! Он же... думает! Он ей-богу думает о чем-то! — прошептала она наконец.

— Думает, — кивнул Дмитрий.

— Он грустный... Он грустит, наверное, о всех, кто жил на этой земле. И кого уже нет, — промолвила Раиса, жена Андрея.

— Да, да! О них! — воскликнула Лена. — Он думает о них давно. И думать будет вечно.

— Я тут просиживал в детстве часами, — проговорил Дмитрий. — Мне иногда кажется — он помог мне в чем-то самом главном в жизни.

— Он помог вам, дядь Дима, стать поэтом! — восторженно и утвердительно сказала Лена.

— Не знаю. Но, возможно, — улыбнулся Дмитрий. — Во всяком случае, он всегда за-

ставлял меня думать о твоём отце, Лена, о моём брате... О большом и важном для меня заставлял думать.

— Это же чудо! Ну просто — чудо природы! — никак не могла прийти в себя девушка.

— Пойдемте посмотреть другое чудо...

Звенигору объезжали с юга и севера, с юга объезд был неудобный и тесный, скалы нависали почти над самой Громотухой. В самом узком месте здесь и находилась между двумя огромными камнями неширокая щель, которая вела в змеиное ущелье — небольшой и неглубокий распадок в горе, отлого поднимавшейся вверх. На дорожном каменистом полотне летом здесь всегда валялось две-три раздавленных колесами автомашин гадюки, выползавших, видимо, к воде. И сейчас еще издали все увидели две плоских серебристых ленты, лежавших в пыли поперек дороги.

— Ой! — воскликнула Лена, останавливаясь.

Все были обуты в сапоги, в руках у каждого палка. Андрей шевельнул своей палкой засохшую змеиную шкуру.

— Мразь какая, а тоже что-то хотела... Напиться, что ли, она хотела из речки?

— Не знаю. Змеи, по-моему, не пьют, — ответил Дмитрий. — Но влага зачем-то им нужна. Я видел, как однажды змея выползла отсюда, сползла к речке, поплавала немного, снова выползла вот на эту плоскую плиту. День был жаркий, камень горячий, змея до вечера лежала тут, грелась и смотрела на меня...

— На вас?!

— Да, Лена... Я вот на том камне сидел, а она лежала на этом, — показал Дмитрий палкой. — И мне казалось, что она все время пристально смотрит на меня... Потом она медленно уползла в ущелье...

— Я... боюсь туда, — проговорила девушка, зябко пожав плечами.

— Да, пожалуй, и не надо, не к чему, — сказала жена Андрея. — Наташенька, не надо туда.

Наташа кивнула, соглашаясь. Но Лена тут же добавила:

— Боюсь, но пойду. Бабушка мне говорила, что дядя моего отца Антон Силантьевич Савельев здесь укрывался от жандармов, когда с каторги бежал... И мне интересно.

— Здесь?! — повернулась к Андрею жена.

— Да, — ответил он.

— Тогда посмотрим все-таки. Осторожненько.

— Давайте, — чуть улыбнулся Дмитрий. — Я тут бывал, поэтому буду проводником. Идите за мной и слушайте меня.

Внимательно глядя под ноги, он двинулся между скал, за ним — остальные. Через несколько шагов открылся весь распадок, щедро залитый солнцем, буйно заросший никогда и

ничем не тревоженной растительностью. Высокие, почти в рост человека, травы, деревья с сочной листвой — боярышник, калина, черемуха... Сперва начинались заросли малины, огромные красные ягоды аж пригибали ветви.

— Ой! Давайте попробуем! — невольно воскликнула Лена.

— Не смей! — вскрикнул немедленно Дмитрий. — Станьте все вот здесь, возле меня.

Когда все подошли к нему, он сказал:

— Где-то здесь и укрывался дядя Антон. Где — я не знаю.

Некоторое время все оглядывали ущелье, по виду ничем не отличавшееся от других подобных горных распадков, разве лишь травы да деревья погуще.

— И все-таки здесь теперь, может, не так уж много гадюк! — проговорила Лена.

— Да? Ну, тогда смотри... — проговорил Дмитрий. — Никому с места не сходить!

Он, обходя кусты, двинулся в сторону малинника, внимательно, как и прежде, глядя под ноги. Буквально через несколько шагов взмахнул палкой, раза три-четыре ударил по земле, раздавил что-то каблуком. Затем поддел палкой длинную, еще извивающуюся плеть.

— Вот... Сейчас еще...

— Дмитрий, хватит! — воскликнул Андрей.

Закричали и другие, требуя вернуться. Дмитрий долго просить себя не заставил.

— Тут их, тварей этих, буквально на каждом шагу... клубками вьются. Давайте обратно. И след в след за мной, как раньше.

Когда вышли из ущелья на дорогу, Наташа облегченно вздохнула:

— Уф! Я слышала, но все-таки не верила, что такое бывает на земле...

В доме Анны было тесно и весело от голосов, от говора и смеха, и она, вернувшаяся из Норвегии молчаливой и подавленной, потихоньку отходила, улыбка все чаще трогала ее иссохшие губы.

Еще в поезде Ленинград — Новосибирск Андрей, стоя в коридоре, сказал брату:

— Наверное, зря я всполошил всех на эту поездку. Что мы узнали? Ничего. И неизвестно, кто лежит под тем камнем. Маме все это, видишь, очень тяжело.

— Да, ей нелегко, — кивнул, глядя в окно, Дмитрий. — И неизвестно...

— Слишком уж разительная перемена в поведении этого «русского Савелия» после того, как он оказался в норвежской партизанской группе, — проговорил Андрей. — Разве он похож на того, который организовал побег военнопленных с немецкой баржи? Тот, я поверил было, наш Семка... Он, оказавшись у партизан, встряхнул бы их от спячки в своих

горах, наладил бы связь с другими группами, они начали бы активные действия. А этот диверсант-одиночка какой-то. Но больше — сидел, молчал.

— Да, это конечно, — произнес Дмитрий раздумчиво. — Но эта такая перемена в нем могла быть и следствием ранения. И мало ли еще почему... И я, знаешь, думаю, что это все-таки наш Семен. И Наташа верит, и мать.

— Да?

— Я в Ленинграде еще слышал, как мама и Наташа, обнявшись, плакали в твоей квартире. «Это он, он, Семушка наш», — говорила ей мать.

— А она?

— Конечно, говорит. Я так рада, что хоть его следы отыскались.

— Ну что ж, если так, то... очень хорошо, — сказал Андрей.

Анна отходила, становилась прежней, а дни летели, как птицы, скоро Андрею с женой надо было уезжать.

— Как мне хорошо, детки, с вами, — сказала она однажды утром, накануне их отъезда, обняв Раису и Наташу. — Сейчас и я, как Димушка, тоже будто слышу, как соловьи росо клюют.

— Как... росо клюют? — спросил Андрей, удивленный.

— Стихотворение у него про это есть.

— Почитай.

— После. Вечером, может быть, на прощание. А теперь идемте, солнце высоко поднялось.

В этот день в Михайловку по заготовительным делам для орсовской столовой Шантарского завода приехал Петр Викентьевич Зубов, с утра обговорил свои дела с Кружилиным и теперь зашел поздороваться с Анной и с Наташей.

— Куда это молодежь собирается? — спросил он, улыбаясь.

Вопрос этот вызвал небольшую заминку. Потом Дмитрий прямо сказал:

— Мы хотим сходить еще раз к Звенигоре, к той зеленой котловине, куда партизан загнали каратели под командованием вашего отца.

— Вот как!

— Да. Поликарп Матвеевич обещал нам показать то место, где партизаны спустились на веревках со скал, напали на сторожевой отряд карателей, истребили их и вышли из каменного мешка.

— Понятно, — усмехнулся Зубов. — То-то Кружилин, старый хитрец, быстренько выпроводил меня сейчас из конторы. Тороплюсь, говорит. А меня с собой не возьмете?

— Да что же... Если вам интересно.

Через час они были у края пропасти, за которой начиналась совсем теперь порушив-

шаяся горная тропа, ведущая в зеленую котловину. У края пропасти стоял, опираясь на палку, Кружилин, а неподалеку — его ходок. Он чуть виновато взглянул на подошедшего со всеми Зубова, но особого удивления не выразил, начал рассказывать:

— Вот тут мы и перебрались через пропасть. Сюда нас старик Силантий привел, ваш дед, — повернулся он к Андрею и Дмитрию. — За это и был повешен по приказу его отца.

Андрей и Дмитрий это знали, и другие тоже. Но все поглядели на Зубова, а тот, прищурив глаза и перекатывая желваки на скулах, смотрел куда-то через пропасть.

— Сейчас по этой тропе уже никому туда не пройти, видите, каменные карнизы и уступы во многих местах разрушились, обвалились. А тогда мы прошли. Несколькo лошадей только в пропасть сорвалось... Это место, где мы стоим, все кровью залито. Правда, белогвардейской, тут нас полуэскадрон карателей сторожил, а потом, когда по скалам спустились, мы напали на них, всех перебили... Но ведь это все равно была человеческая кровь...

Все посмотрели себе под ноги, на каменную осыпь. Камни как камни, темно-серые, разной величины, нагретые солнцем. И Кружилин, старый и седой, был старик как старик. Трудно было представить, что он когда-то держал в руках ружье или шашку, в кого-то стрелял, кого-то рубил безжалостно шашкой, что здесь, в этом глухом и тихом месте умирали люди, на эти горячие камни лилась красная человеческая кровь. Лена так и сказала:

— Не могу я этого представить... Этого не было.

— Это было, дочка, — сказал Кружилин. — Ну, пойдемте, покажу, где мы на веревках партизан спустили.

Через несколько минут они все стояли у голых отвесных скал и, задрвав головы, оглядывали их.

— Ужасно, такая высотища! — опять проговорила Лена, самая молодая и самая эмоциональная из всех.

— Был у нас такой разведчик, Яков Алейников, — проговорил Кружилин. — Он этой высоты не испугался. Мы его первым спустили сверху однажды ночью.

— Человек никогда не должен бояться высоты — ни ночью, ни днем, — произнес вдруг угрюмо Дмитрий.

От Звенигоры Кружилин и Зубов ехали вместе. Остальные пошли искупаться на прощание в Громогухе, а они сели и поехали молча, и лишь минут через десять Кружилин сказал:

— Утром я не пригласил тебя сюда. Я помню, там, на Огневских ключах, тебе

было не очень легко и приятно. И я подумал...

— Да, ты меня пожалел, я понимаю, — проговорил Zubov. — Но видите ли, Поликарп Матвеевич... Я вам отвечу стихами. Не Дмитрий Савельева. Недавно мне попались на глаза стихи армянского поэта Ованеса Туманяна. Вот эти:

В сей мир, где тьмы людей перебивало,
Приходит вновь и вновь людей немало,
Чтоб опытом столетий пренебречь
И путь неверный начинать сначала.

Проговорив это, Zubov немного помолчал и сказал с печальной горечью:

— Я один из таких людей... Был одним из таких. Но это, к счастью, уже в прошлом. Как здоровье, Поликарп Матвеевич?

— Какое теперь здоровье? — грустно промолвил Кружилин, кивнул на лежащую в ходке палку. — С подпоркой жожу вот давно уже. Весной попросил от работы меня освободить. Тяжко стало. Сын нынче институт закончил, женился, наконец, в городе. Агроном он теперь. Вот с ними и буду жить где-нибудь.

Поликарп Матвеевич Кружилин был совершенно сед, плечи его похудели и сторбились, руки, когда он держал в них что-нибудь, тряслись.

— Ну, а как ты живешь? — спросил он у Zubova.

— Нормально. Работаю, жена тоже. Сын учится... я взял к себе Акулину Тарасовну Козодоеву. Старушку эту, которая брата моего отца вилами запорол... Я вам рассказывал за что. Помните?

— Как же, помню...

— Ей уже под девяносто где-то. Бодренькая еще, бегаёт. Но слабость зрением начала. И мы с женой решили, что наш долг о ней позаботиться. Еле уговорил Наталью Александровну уступить нам старушку.

— У нее муж когда-то был, Филат Филатич... Забавный старик. Слышал о нем?

— Не только слышал... Не раз беседовал с ним о моем отце. Знал он его, оказывает-ся, тоже.

— Да, кажется. Давно я не видел старика. Жив еще?

— Скончался...

После этих слов Кружилин долго молчал. Дорога шла между двух хлебных полос. Поликарп Матвеевич сидел в ходке угрюмый, тусклыми глазами, в которых ничего, кроме старческой тоски, не было, глядел, как под несильным ветром качаются зеленые еще, тяжелые колосья, уплывают назад, а навстречу движутся все новые и новые. Казалось, два гигантских зеленых колеса, два жернова медленно вращаются в одну и ту же сторону, едва не прикасаясь друг к другу. Казалось еще, что не лошадь, гладкая

и сильная, тащит ходок, а сама собой приближается зеленая стена тайги справа, а Звенигора, оставшаяся сзади, сама собой уплывает все дальше, что это тоже какие-то огромные, гигантские жернова, не останавливающиеся ни на мгновение, работающие вечно.

— Может, потому и говорят: все перемелется — мука будет, — произнес вдруг Кружилин.

— Да, к сожалению, — откликнулся Zubov, подумавший, что Поликарп Матвеевич говорит о бренности человеческого существования, о кратковременности пребывания человека на земле. Но Кружилин имел в виду не это.

— Опыт столетий — это и есть та самая мука, из которой люди испекут хлеб истины. И все меньше и меньше в этот мир будет приходиться людей, чтоб этим опытом пренебречь и неверный путь сначала начать. Все меньше, а потом и вовсе таких не будет.

— Да, это конечно, — сказал Zubov. — Не дешево только опыт этот достается людям.

— Не дешево, — откликнулся Кружилин. — Как еще не дешево!

Вечером был прощальный ужин, на который Анна пригласила и Кружилина, и Zubova, и Кирьяна Инютина с Анфисой. Кирьян тоже уже недавно разменял седьмой десяток, но по-прежнему работал в колхозе бухгалтером. Передвигаться на своей каталке по грунтовой дороге ему было тяжело, поэтому Анфиса привезла мужа на телеге. Андрей и Дмитрий сняли его и с незлобивыми шутками и смехом внесли в дом.

— Только стишки твои, Дмитрий, и явился я послушать, — сказал Кирьян. — А так — тяжело уж мне по гостям. И людям-то возить-ся со мной...

— Вани... Ивана, жалко, нету, — несколько раз проговорила Анна, рассаживая гостей. — Зачем это люди из родной деревни уезжают?

— Иван — ровесник мне, — сказал Кирьян. — И тебе, Анна... На пенсию, наверное, вот-вот уйдет. Тогда и вернется.

— Не вот-вот... — подал голос Кружилин. — Видел его недавно в Шантаре. Ничего, говорит, сила в ногах есть, побегаю еще по полям...

— Стихи мне твои, Дмитрий, про войну больше нравятся, — опять сказал Кирьян. — Пряма за душу берут, просветляют что-то слезой там. Новенькие есть какие?

— Если поискать, может, и найдутся.

— Читай давай.

— Для стихов, дядя Кирьян, как и для выпивки, созреть надо.

— Хе! На это дело я в любой момент зрелый. Правда, теперь больше чекушки не могу...

Анна всех рассадилла, почти всем сама положила на тарелки закуску и села между женой Андрея Раисой, маленькой женщиной

с тихим голосом, которую Анна любила за несуетливость, за какой-то уютный домашний характер, и Дмитрием.

— Дядя Поликарп, ты самый среди нас старший, — проговорил Андрей. — Скажи первое слово.

— Что же сказать вам, дети? — Кружилин, помогая себе костылем, поднялся. — Сегодня вот говорил Дмитрий, когда стояли мы возле Звенигоры: человек никогда не должен бояться высоты, ни ночью, ни днем. Хорошо это сказано и правильно. Только что такое высота? У каждого ведь она своя. Она не измеряется метрами или должностями, положением в обществе, она измеряется качествами человеческой души, нравственной сутью человека, его отношением к людям и к жизни, способностью каждого из нас увидеть в людях самое человеческое... а в жизни — самое справедливое и потому прекрасное... Услышать, как тот же Дмитрий говорит, как соловьи росу клюют. Поэтому давайте, друзья, выпьем за этот слух, который не так-то просто дается. За эту высоту, на которой не так-то уже легко и просто держаться...

— Это верно, не просто, — вскрикнул вдруг Кирьян, по сути дела скомкав тост, и первый выпил.

Были потом и еще тосты — за Анну, за ее сьновей и невесток, за внучку Лену, было шумно и весело, и лишь Кирьян Инютин пьяно хмурился, а потом опять сказал свое:

— Не просто... не все могут. В самую суть ты, Поликарп, Колька мой — смог. Теперь вот в райкоме партии работает.

— Он будет, я думаю, и секретарем обкома, — проговорил Кружилин.

— А Верка — не смогла. Только и смогла... что она смогла, Анфиса?

— Помолчи, Кирьян, — попросила Анфиса.

— Не-ет, Поликарп — он правду говорит. В самую точку. Высматривала она в жизни, высматривала чего-то... как коршун добычу. А ее самоё Аникой Елизаров схватил.

— Да пусть живут, тебе-то что? — опять промолвила Анфиса.

— Да теперь чего — пуцай, — обмяк и он. Но упрямо проговорил свое: — Автомобиль купили, ездит на нем, принцесса... Димка, ты прочитаешь или нет свои стихи? А то норму свою я уже выпил, чекушку опростал... Про войну мне, а, Дим?

Попросили и другие, Лена даже нетерпеливо захлопала в ладоши.

— Про войну... — Дмитрий встал. — Я на войне не был, по возрасту не успел. А Семен, наш брат, не вернулся с нее, сгорел в ее ненасытной пасти. Мы только что съездили в Норвегию, попытались найти его следы хотя бы... Там, в Норвегии, да и вообще, когда я бываю за границей... Редко, но бываю там.

И там я особенно остро чувствую, какая она, война, была с фашизмом, что пришлось нашей земле и нашему народу перенести. С фашизмом дрались все народы нашей страны, многие народы мира. И об этой битве с проклятой чумой я задумал написать поэму. И посвятить ее погибшему брату. Поэма будет состоять из монологов людей различных национальностей... Я вам прочту монолог русского человека, бывшего в войну мальчишкой и попавшего под оккупацию. Я попытался представить себя на его месте...

Проговорив это в полной тишине, Дмитрий замолчал.

— Ну? — нетерпеливо подтолкнул его Кирьян.

И, будто подчиняясь этому возгласу, Дмитрий начал:

Лишь глаза закрою...
В русском поле —
Под Смоленском, Псковом и Орлом —
Факелы отчаянья и боли
Обдают неслыханным теплом.
Пар идет от стонущих деревьев.
Облака обожжены вдали.
Огненным снопом
Моя деревня
Медленно уходит от земли...

Пока Дмитрий читал, стояла мертвая тишина, вскрикнула лишь один раз Лена, а следом за ней Кирьян — безногий, совсем поседевший, как и Кружилин. И когда Дмитрий замолчал, стояла все та же тишина.

Жена Андрея во все глаза смотрела на Дмитрия, будто никогда раньше его не видела. Зубов сидел, опустив голову, Кружилин глядел куда-то в окно...

И в продолжавшейся тишине, чтобы уничтожить ее, Дмитрий голосом чуть торжественным, но больше веселым заговорил нараспев:

В моей крови
Гудит набат веков,
Набат побед и горьких потрясений!
И знаю я — до смерти далеко
И вновь зову веселье в час весенний...
Бывает так, что белый свет не мил.
Но вот
В полях последний снег растаял,
И я окно распахиваю в мир
И календарь весны моей листаю.
В тот календарь,
Что весь пропах листвою,
Характер вписан строчкой голубою.
В характере моем —
И озорство,
И выдержка солдата перед боем...
Я слышу —
Соловьи росу клюют.
И солнце поднимается все выше...

Дмитрий оборвал чтение на этих словах — «все выше», стал наливать из бутылки.

— Ну, дальше?! — спросила дочка Наташи и Семена.

— А дальше я, Леночка, еще не написал.

— Как не написал? — Она шагнула к нему, положила руки на плечи, заглянула в глаза. — Ты что это говоришь? Ты какое имеешь право не написать дальше?

И только теперь за столом зашевелились, заговорили.

— Ты когда, когда их допишешь, эти стихи?

— Не знаю, Лена. — Он осторожно снял ее руки со своих плеч. — Я это стихотворение пишу всю жизнь. И оно никак не дописывается.

— Ты... — Девушка зачем-то поглядела на свою мать, на бабушку. — Ты его пишешь для нее, для Ганки из Винницы?

Теперь Дмитрий оглядел всех, усмехнулся:

— Не знаю. Может быть, для нее, может быть, нет... Мне просто хочется передать в нем ощущение полноты и беспредельности и нескончаемости жизни...

Анна и Наташа, слушая их разговор, улыбались. Поликарп Матвеевич Кружилин, тоже наблюдая за Дмитрием и Леной, сказал вполголоса Зубову:

— Федор Савельев пренебрег тем опытом столетий, о котором армянский поэт говорил. Но брат ему этого не простил. Старший сын Семен поступил бы со своим отцом так же... И два младших сына — ни Дмитрий, ни Андрей — не простили. В этом — суть нелегкой истории человечества...

Василий Кружилин мягко спрыгнул на гравий, поставил чемоданчик, положил на него плащ и закурил. Поезд тотчас же вздрогнул, закрипел, и зеленые, до блеска отмытые дождем вагоны поплыли мимо. С вагонов еще капало.

Там, откуда только что вынырнул пассажирский состав, по-прежнему бушевала гроза, тяжело клубились иссиня-черные тучи. А здесь небо было чистым, земля совершенно суха, и лишь запыленная крыша деревянного блокпоста чуть испятнана упавшими сверху редкими каплями.

— Значит, обманул дождичек-то? — спросил зачем-то Василий у молоденькой девушки в форменном платье, стоявшей неподалеку с желтым обернутым вокруг древка флажком.

Девушка не отвечала до тех пор, пока не миновал последний вагон. Затем опустила флажок и сказала:

— А когда он здесь у нас по-честному-то шел? — и направилась в блокпост.

Поезд скрылся за невысокими пропыленными тополями, посаженными вдоль линии, и лязг железа затих. Теперь слышно было, как погромыхивает уходящая за горизонт гроза.

Василий взял плащ, поднял чемоданчик и зашагал по мягкому проселку вслед за поездом.

Солнце палило невыносимо. Трава по бокам дороги давно высохла, почернела, в ней дружно трещали кузнечики.

Из любопытства Василий сделал шаг в сторону. Трава, как сухари, тотчас захрустела под ногами, из-под сапог взметнулись облачка пыли, и кузнечики брызнули во все стороны.

Скоро проселок повернул в сторону от железнодорожной линии, побежал среди лугов. Сладко запахло размлевшими травами, перегретой землей.

Кузнечиков теперь не было слышно, и ничего не было слышно, кроме одинокой песни жаворонка.

Василий поднял голову, поглядел в бездонную голубизну неба, стараясь отыскать там певчую птичку. Но ничего не увидел, кроме высоты, кроме необъятного простора да плавающего в этом просторе косматого солнца, которое тотчас же ударило его по глазам, ослепило...

А жаворонки все же были где-то там, в вышине. Он, кажется, поднимался все выше и выше, стараясь унести ввысь свою песню. Но видимо, устав, умолк вдруг, птичья песня будто беззвучно упала вниз.

«И правильно, — подумал Кружилин, продолжая шагать по проселку. — Зачем уносить песню в пустое, безжизненное небо? Кто ее там будет слушать? Кто ей обрадуется? И само небо-то хорошо и красиво только здесь, над землей, где живут люди. А выше оно черное и холодное. — Подумал и смутился: — Что это я? Мысли какие-то... как у девчушки».

Василий закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, в чемоданчике у него лежал только что полученный диплом агронома. Год он проучился заочно, работая одновременно редактором газеты соседнего с Шантарским района, а потом перевелся на стационар.

Учеба в институте, что и говорить, ему далась нелегко. То, что его сокурсники — молоденькие девчонки и паренки — усваивали шутя, ему приходилось иногда прямо-таки вдалбливать себе в голову. Над ним, случалось, посмеивались и подшучивали, но он, не обижаясь, корпел и корпел над книгами.

Как бы там ни было, институт он закончил не хуже других.

При распределении выпускников Василия хотели направить агрономом в одно из сельских производственных управлений, но он, решив про себя, что управление никуда от него не уйдет, зашел в обком партии и попросился в совхоз или колхоз.

— В любое хозяйство пойду, — сказал он. — Но с особым энтузиазмом пошел бы в Шантарский колхоз «Красный партизан». В последнее время там председателем мой отец...

— В «Красный партизан»... — медленно проговорил заведующий сельхозотделом обкома партии. — А ведь это будет правильнее. Вам — намного интереснее, хозяйство это вы знаете... До учебы в институте, я помню уполномоченным там не раз бывали?

— Не раз... — усмехнулся Василий. — Из года в год там держал меня Полипов, бывший секретарь Шантарского райкома партии.

— Да, да... А что, Василий Поликарпович, если несколько по-иному сделать? Если не агрономом, а... председателем колхоза мы тебя порекомендуем туда? Поликарп Матвеевич просит освободить его... И мы понимаем — были бы еще силы у него, не попросил бы. Да вы, конечно, это и сами знаете... Как, а? Мы поговорим с Шантарским райкомом партии, я думаю, райком не будет возражать.

Василий был человеком взрослым, предложению этому он не удивился и ответил просто, без всяких оговорок:

— Если обком и райком партии доверят эту ответственную работу и колхозники меня примут — я приложу все силы, чтобы такое доверие оправдать.

— Значит, договорились... Поликарп Матвеевич, я думаю, будет рад этому. Передайте ему лично от меня поклон и привет. Мы готовим... об этом вроде и не положено говорить, да ведь как у нас бывает? Мы не говорим — а все равно всем известно. Мы готовим представление Поликарпа Матвеевича к Герою Социалистического Труда. По совокупности, как говорится, за всю его деятельность... С Москвой это согласовано, и, я думаю, к ноябрьским праздникам Указ появится. Что это вы так горько улыбаетесь?

— Видите ли... Поздновато иногда к людям их заслуженные награды приходят.

— Такова жизнь, — усмехнулся и заведующий сельхозотделом. — Иногда награды поздновато приходят, иногда и другое, нечто противоположное... От Полипова Петра Петровича вот мы смогли освободиться лишь в позапрошлом году.

— Где же он сейчас?

— Год он работал в совхозе «Степной» секретарем партбюро.

— Это у Ивана Савельева?

— Да, в его совхозе. Савельев — отличный хозяйственник, прекрасный человек, честный коммунист. Хорошо, говорит, пусть работает у нас, но предупреждаю: люди у нас прямые и через год они откровенно выскажут свое мнение о Полипове. Если он что-то поймает в жизни, будет к делу относиться как положено, наши коммунисты его поддержат. А нет — забаллотировать на очередных выборах парткома.

— И что же?

— Прошлой осенью забаллотировали. Да-

же в партком не избрали. Он сюда, в обком, с жалобой. На кого бы вы думали?

— На Савельева, я думаю.

— Именно, на директора совхоза. И на одного из секретарей райкома партии, Инютина. Настроили, мол, коммунистов против. Но мы-то знаем, что это не так. Что же с ним делать? На пенсии жить не хочет, я, говорит, коммунист с дореволюционным стажем! И по анкете оно так... И силы, толкует нам, несмотря на возраст, еще имеются. Выбирай, решили мы, любое другое хозяйство, мы еще раз тебя поддержим. И он выбрал. Что, думаете? Совхоз «Первомайский». Там директором Малыгин, что женат на бывшей жене Полипова.

— Интересно...

— Да. Удобно вам это будет, спрашиваем. Малыгин, отвечает, человек порядочный и государственный, а для коммунистов главное — порученное партией дело, а не личные отношения и бытовые противоречия.

— Бытовые противоречия?

— Так он выразился.

— Малыгин, я помню, слишком исполнительный был, в рот Полипову все время глядел.

— Я понимаю, о чем вы говорите. Но видите ли, Василий Поликарпович... Малыгин, не скажу, что из передовых директоров. Но... жизнь идет, чему-то учит тех, кто хочет или может научиться. Медленно, но учит она и Малыгина. Мы этому радуемся. В общем, позвонил я в Шантару, попросил райком порекомендовать коммунистам «Первомайского» избрать Полипова секретарем парткома. Да, кажется, и там у него не клеится...

Перебирая в памяти весь этот разговор в обкоме партии, Василий Кружилин шел по луговой тропинке. Вспомнил и сегодняшний утренний разговор с Николаем Инютиным в Шантарском райкоме партии.

— Хо! — воскликнул восторженно Николай Кирьянович, которого, несмотря на его тридцать пять или тридцать шесть лет, по имени-отчеству называли лишь в официальной обстановке. А так — просто Николай или и того проще — Коля. — Да это ж так здорово, что ты в этот колхоз! Это мой любимый колхоз!

— У тебя не должно быть любимчиков, — сказал Василий.

— Это-то так, — вздохнул Николай. — Да ведь у каждого человека есть крупные недостатки.

И он смущенно потер свой горбатый нос.

— Но я с ними борюсь. И жена моя, Дарья Ивановна, все мои недостатки постоянно угнетает, как полевые сорняки. Ну ладно. Вася, значит так... Ты когда в колхоз поедешь?

— Да я думаю — в день собрания и приеду.

— Ты что, ты что, Василий Поликарпович?! — Инютин сделал круглые глаза. — Нет, это будет nepopядок. Человек ты для

михайловцев не с ветра, это понятно. За годы редакторства со всеми перезнакомился, на ка-никулах в Михайловку каждый год к отцу при-езжал. Это так, тебя знают... Но являться в колхоз гостем — одно, и хозяином — другое. Являться туда за несколько часов до избрания председателем — это нечестно. Так я говорю?

— Пожалуй, что так.

— Именно. Поэтому — поезжай сегодня же. Пусть колхозники обо всем узнают заранее, пусть не спеша обсудят и решат. А за пару дней до собрания я туда приеду... Ничего, Вась, все будет хорошо! Дать тебе машину?

— Спасибо. Я сойду на первом полустанке, а там пешком.

— Далеко ж...

— А я хочу пройтись, как помещик, по бу-дущим своим владениям.

— Помещик! — расхохотался весело Иню-тин. — Ну, давай, помещик... Чем больше бу-дешь ты о людях заботиться, чем больше зерна, мяса, молока и разного прочего давать государ-ству, тем сильнее народ тебя поддерживать бу-дет. Это ж здорово быть таким помещиком, а?!

— Здорово, — согласился Василий с улыб-кой, и это радостное чувство, вызванное утрен-ним разговором с Инютиным, все жило в нем. Тогда, в обкоме, завсельхозотделом, прощаясь, сказал: «Работать с Инютиным тебе будет легко и радостно, вокруг него скучных будней не бывает, а словно одни праздники...» И, кажет-ся, это так.

Василий хорошо знал эти места, шагал то дорогой, то напрямик через луга и пастбища, огибая перелески, то едва приметными тропин-ками. Он шагал несколько часов, иногда приса-живался, не столько отдохнуть, сколько поси-деть и подумать о своем. О семье, оставшейся пока в Новосибирске, — он женился на послед-нем курсе и к осени ждал сына или дочь. Уст-роится вот со всеми делами, съездит за женой, пусть она родит ребенка здесь. Вспоминал он об отце, которым всегда гордился и который про-жил не легкую, но честную и полезную для лю-дей жизнь. Размышлял о том, что и ему свою жизнь надо прожить не хуже, что ему предсто-ит наверстать многое упущенное из-за кошмар-ных лет фашистской неволи.

По-прежнему пели, звенели над ним жаво-ронки.

Когда до центральной усадьбы «Красного партизана» оставалось километра три, впереди на дороге показался человек на велосипеде. Ко-гда тот поравнялся, Василий посторонился, что-бы дать дорогу. Но велосипедист неожиданно затормозил и слез с машины.

— Кружилин? Василий... Вот встреча! Не узнаешь, что ли?

Узнать Петра Петровича Полипова, бывшего секретаря райкома партии, было действительно нелегко: на Василия Кружилина смотрел глу-

боко ввалившимися тревожными глазами уста-лый, сгорбившийся, давно не бритый старик. Измятый, потертый пиджак, выгоревшая на солнце фуражка, стоптанные, запыленные сапоги.

— Многие теперь не узнают Полипова, — с горькой усмешкой промолвил бывший секре-тарь райкома. И Кружилину стало неприятно, хотя он и не мог определить, отчего.

— Зачем так... — сказал он. — Я очень рад. Здравствуй, Петр Петрович.

— Здравствуй, — сказал и Полипов, но не-хотя, видимо, уже жалея, что остановился.

И действительно, ни тому, ни другому гово-рить было, в общем, не о чем. Оба понимали это и неловко топтались друг против друга.

Полипов поглядел на свой велосипед — не перебросить ли ногу через седло да и поехать своей дорогой...

— Ну как... — у Кружилина чуть не вырва-лось далее: «...живешь, Петр Петрович?» Одна-ко в самую последнюю секунду промелькнуло: ведь Полипов по-своему истолкует такой вопрос. И потому невольно закончил: — ...как жизнь идет в ваших краях? Что нового?

Но даже и в таком измененном виде вопрос Кружилина не понравился Полипову.

— Чего ей, жизни? Идет, как и в ваших, — промолвил он.

Полипов особенно-то не выделял последние слова — «как и в ваших», но все равно Кружи-лин обратил на них внимание, и опять ему стало неприятно. Вероятно потому, что при этих сло-вах по губам Полипова пробежала кисловатая усмешка. Впрочем, он тут же ее согнал и спросил:

— Ты, кажется, отучился? Как же, пользо-вался слухом... Не пойму только, отчего журна-листике-то изменил?

— Да пока вроде бы отучился, Петр Петро-вич! Теперь снова сюда на работу, в свой рай-он. — Кружилин достал папиросы. — Да при-сядем, что ли... Возьми вот плащ.

— Ничего. Я привык без подстилки, — ска-зал Полипов, опускаясь на обочину. Кружилину показалось, что сухие, запыленные губы Поли-пова и на этот раз скривило усмешкой. И, взгля-нув на него, он даже ощутил недоумение, усмешки не было.

Кружилин присел на свой чемоданчик. И спросил, чтобы что-то спросить:

— Куда же ты путь держишь, Петр Пет-рович?

— Держу? Да, кажется, прочь из района держу! — вдруг со злостью выкрикнул Полипов.

— Как это — прочь? Выгоняет, что ли, тебя кто?

Полипов странно поглядел на Кружилина, точно заподозрив его в каком-то обмане, и Ва-силий понял, наконец, отчего ему были неприят-ны усмешки Полипова. Сейчас, без усмешки,

эта подозрительность проступала особенно отчетливо. Выходило, он маскировал ее усмешками.

— На этот раз пока не успели из совхоза выгнать. В совхозе «Первомайский» я сейчас Секретарем парткома. Но — сам ухожу.

— Почему?

— Э-э, — только махнул рукой Полипов.

Некоторое время оба сидели молча. Дым от папиросы Кружилина долго висел над ними в теплом воздухе, рассасывался нехотя.

Летняя гроза в этот день все ходила и ходила где-то неподалеку, за горизонтом, оттуда временами доносились редкие и невнятные раскаты грома, обессиленные расстоянием.

Полипов сидел на краю дороги неуклюже, сгорбившись, уперев локти в колени широко расставленных ног. Время от времени он мотал головой и сплевывал на землю.

«Полно, да уж Полипов ли это?» — подумал Кружилин, невольно сравнивая его с тем Полиповым, которого когда-то знал; тот, прежний Полипов, одетый всегда, что называется, с иголочки, всегда чисто выбритый, подтянутый, рассеивал вокруг себя властность и одним своим появлением внушал окружающим почтительность. Был он человеком грузным, и, когда прохаживался по кабинету в райкоме, под ним прогибались и поскрипывали половицы. Василий почему-то всегда обращал на это внимание. Ему казалось, что и сам Полипов тоже с удовольствием прислушивается к этому скрипу.

Если что осталось сейчас в Полипове от прежнего облика, то это незастегнутый, широко распахнутый ворот рубахи. И будучи секретарем райкома, он редко носил галстуки, как бы подчеркивая этой деталью в безупречной одежде свою простоту и демократичность.

Жара палила и палила. Чудилось, где-то там, в луговых глубинах, была раскаленная банная каменка невероятных размеров и на нее кто-то лил и лил целые речки воды. Пар растекался во все стороны, доставал до проселка, окатывал Кружилина с Полиповым тяжелыми горячими волнами.

— Не сработаюсь с Малыгиным. Потому и решил уйти от него, — сказал Полипов.

— На чистых парах, что ли, не сошлись? Я слышал, Малыгин завел их тоже, понял, что нельзя без них...

— Злой ты, оказывается, — с желчью произнес Полипов. — Злопамятный. Почему это большинство людей злопамятны?

— Ты думаешь, большинство?

На этот вопрос Полипов не ответил.

— Не знаю, Петр Петрович, злопамятный я или нет, — продолжал Кружилин, — но твои не столь уж давние рассуждения о доморощенных демагогах, об идейно незрелых людях, которые не видят, что наши колхозники и рабочие творят чудеса, а только кричат, что мы не

умеем хозяйствовать, я, видно, никогда не забуду.

Полипов потрогал велосипедное колесо, проверяя, хорошо ли оно накачано.

— Да, конечно, мы с тобой не очень дружно жили, — сказал он. — Особенно после этого разговора. Но слова — что! Главное — не слова, а дела. Признайся, зло на меня ты держишь не за эти слова, а за то, что я потребовал убрать тебя из района? Нет, что ли?

И в голосе Полипова явственно прозвучали даже торжествующие нотки.

А Кружилин глядел, глядел на него во все глаза, все более удивляясь. Полипов, истинный, настоящий, как ему показалось, Полипов, только сейчас, после своего последнего вопроса, предстал вдруг перед ним в истинном свете. «Да ведь он же, несмотря на свой возраст, непроходимо глуп! — думал Кружилин. — Как я раньше этого не замечал?»

— Ну, так что ты молчишь? Отвечай, — тем же голосом произнес Полипов.

«И как другие не замечали? — продолжал невесело размышлять Василий. — Хотя почему не замечали? С секретарем райкома партии убрали. Из совхоза «Степного» от Савельева — тоже. А от Малыгина теперь сам бежит. Даже от Малыгина!»

Кружилину стало как-то легче, свободнее, несмотря на то что Полипов опять скривил губы.

— Ах, Полипов, Полипов! — невольно произнес он.

Губы Полипова дрогнули, он быстро провел по ним рукой и словно стер свою усмешку.

— Ну что — Полипов? Что — Полипов?! — воскликнул он. Голос его сухо потрескивал, и было заметно, что он сдерживается, боясь сорваться. Кружилин не без интереса следил, спрашивая ли Полипов с собой. — Ну, слушай, на чем я не сошелся с Малыгиным. На кукурузе. Ее, как ты знаешь, рекомендуют сеять квадратно-гнездовым способом... А Малыгин посеял нынче узкорядным...

— И правильно сделал, — сказал Василий. — В здешних местах только так и надо сеять кукурузу на силос. Только при этом способе посева на наших землях получается самый высокий урожай.

Полипов, глядя куда-то вбок, несколько секунд тяжело дышал. Затем достал носовой платок и вытер потное лицо и шею.

— Вот так, уважаемый Василий Поликарпович, — сказал он, пряча платок. — А Малыгин, этот недоносек... мной же выкормлен! И сзади, и спереди, и с боков я подпираю его, чтоб не упал... А теперь он мне, видишь ли, популярно вздумал объяснить, что я заскоружный и отсталый человек, что такие методы руководства людьми и сельским хозяйством давно,

дескать, осуждены партией... Мне, коммунисту с дореволюционным стажем!

Василий Кружилин безмолвно сидел напротив Полипова.

— Так что же ты молчишь, Василий Поликарпович?

— Да... Не враз и сообразишь, что ответить... на такое откровение, — произнес Кружилин.

— Верно. Сложна она, жизнь-то.

И в голосе Полипова снова прозвучал какой-то торжествующе-снисходительный оттенок.

— Сложна. Но, Петр Петрович, в конце концов тебе придется ответить самому себе на один-два вопроса.

— Ответим. Хоть на десять. И хоть сейчас, — проговорил Полипов. Однако в голосе его уже не было и намек на торжествующие нотки. Он снова полез за платком, хотя теперь в этом не было надобности.

Василий усмехнулся, и это отчего-то подклестнуло Полипова.

— Давай эти самые вопросы! Если, наконец, сообразил кое-что...

— Зачем уж с такой, мягко говоря, иронией? А вопросы? Ну что ж. Это верно, коммунист ты с дореволюционным стажем. Но вот ты не задумывался пока, отчего оно так происходит? Ты уверен, что правильно руководил людьми, в сельском хозяйстве ты отстаиваешь одно, отстаиваешь другое. То прогрессивный метод уборки, то передовой прием агротехники. Ты, по твоим словам, всегда борешься за линию партии в этих вопросах, всегда проводишь ее неуклонно. А тебя отовсюду... освобождают. Люди же, перед которыми ты «отстаиваешь», против которых «борешься», идут себе да идут вперед и дальше. Обо всех я не буду говорить, возьмем для примера двоих хотя бы — Савельева Ивана и Малыгина. Савельев — директор крупнейшего в области совхоза, у Малыгина совхоз поменьше, но, судя по всему, умнеет человек, набирает силу. Недавно я был в обкоме партии, о Малыгине зашел разговор... Хорошо говорят о нем в обкоме партии, ценят и поддерживают. Не за красивые глаза, видимо. И уж не за то, наверное, что Малыгин этот идет против партийной линии в сельском хозяйстве. Почему же оно так?

Полипов, выслушав все это молча и внешне спокойно. Но только опять отвернулся от Кружилина и с какой-то тоской глядел в ту сторону, где все еще ходила и ходила летняя гроза, куда уплыли черные, тяжелые тучи, завалившие недавно весь горизонт.

Кружилин терпеливо ждал. И, чувствуя, что, чем дальше, тем невыносимее будет его молчание, Полипов дернул щекой, хрипло выдал из себя:

— Так... Валяй уж дальше.

Кружилин покачал головой и поднялся с চে-моданчика.

— Тяжело, стало быть, отвечать?

— А я уж на все вопросы сразу.

— Вряд ли сумеешь сразу-то, если на один не можешь... или не хочешь. Почему вот от Малыгина уезжаешь?

— Я объяснял.

— Непонятно ты объяснял. А может быть, даже нечестно.

— То есть как — нечестно?

— Видишь ли... Да, я помню, как отец мой тебе тогда насчет подлости говорил. Я в то время, если ты не забыл, находился в колхозе в роли никому не нужного уполномоченного. Словом, слышал ваш телефонный разговор. Я стоял рядом с ним. Отец тебе еще и насчет совести говорил. Помнишь, он советовал тебе бояться ее? Так вот, думаю, не проснулась ли она наконец в тебе? Не она ли погнала тебя из совхоза?

Полипов рывком оторвал свое тело от земли, вскочил. Губы и щеки его тряслись, все лицо было искажено. Он сжал кулаки и сделал шаг к Василию Кружилину, сыну Поликарпа Матвеевича Кружилина. Но тут же опомнился, отступил назад, сунул руки в карманы пиджака.

— Мальчишка! — выкрикнул он, как когда-то в своем секретарском кабинете.

Сам того не ведая, Василий Кружилин попал в самое больное место Полипова. Тот никогда не знал и никогда не понимал, что это такое — человеческая совесть, но, когда ему о ней говорили, он зеленел, весь начинался злостью, а под старость стал взрываться прямо порохом, как и сейчас произошло.

И не только совести — многого не понимал Петр Петрович Полипов. Например, что ему говорил тогда в Шестокове Лахновский о каких-таких силах, могущих якобы подмять под себя весь мир, толковал ему и почему отпустил его подобру-поздорову; почему ушла от него, Полипова, жена; почему в конце концов ему осторожно стали намекать — не желает ли, мол, он отправиться на покой.

— Спасибо за заботу, товарищи! — с улыбкой отговаривался он. — Я чувствую, что есть еще силы. На здоровье не жалеюсь...

— Человек, Петр Петрович, всегда переоценивает свои силы, — мягко говорили ему. — И закон предусматривает, что в определенном возрасте...

— Он предусматривает, но ничего не определяет категорически.

Наконец ему прямо сказали, что пора уходить. Он, теперь растерянный, изо всех сил пытался как-то удержаться на поверхности:

— Товарищи! Дорогие товарищи! Да мало ли секретарей райкомов в моем возрасте? Мо-

жет быть, в другой район? Я в Шантаре действительно засиделся...

— И в нашей области, и повсюду в стране идет омоложение руководящих партийных кадров.

С трудом он добился, чтобы его порекомендовали хотя бы секретарем парторганизации колхоза или совхоза...

Потом он не понимал, почему через год коммунисты совхоза «Степной» не избрали его даже в партком. Не понимал, почему нынче весной директор другого совхоза, Малыгин, со злостью сказал ему:

— Не годами ты одряхлел, Петр Петрович, а умом. Кто сейчас так руководит людьми? Никого никогда не выслушаешь, кричишь на них.

— Это ты — мне? — аж задохнулся Полипов. — Мне, который тебя... вот с этой руки выкормил?

— Ты выкармливал! — еще злее заговорил Малыгин, часто хворающий после фронтовых ранений человек. Невысокий ростом, с лицом, глубоко испаванным морщинами, он стоял среди только что засеянного кукурузой поля упрямо и крепко, и Полипову даже показалось, что, если толкнуть его, он даже не покачнется. — Не так выкармливают, если в это слово порядочный смысл вложить. Птицы вон выкармливают своих птенцов, а потом летать учат. Так Кружилин делал — хлестал когда надо, когда за дело... Уму-разуму людей учил. А ты — не уму, а дурусти учишь!

— Спасибо, — желчно произнес Полипов. — Ладно, поглядим. Это поле ты засеял узкорядно. Поглядим, какие шишки на тебя за это повалятся.

— Ну и что ж? Зато с силосом будем. Будет, чем зимой скот кормить.

— Значит, ты за отсталую агротехнику?

— Нет, я за передовую. Это ты за отсталую...

Так они поговорили нынешним теплым весенним днем, да и поехали с поля в деревню. Ехали молча. И уже возле самой усадьбы Полипов спросил:

— По всему видать, не приживусь я и у вас? Осенью на отчетно-выборном не изберете меня в партком?

— Это дело коммунистов, — сухо ответил Малыгин.

— Коммунисты тебе, директору, в рот смотрят.

— Напрасно так думаешь, — усмехнулся Малыгин. — У каждого своя голова на плечах.

— Ну, а ты-то? Ты... за или против меня будешь голосовать? Честно только.

— А что же не честно? Я — против.

Так они перемолвились перед самой деревней. И, когда подъезжали к конюшне, Полипов уронил смешок:

— Все понятно. Ты с моей бывшей женой живешь. И тебе неловко, что я рядом.

— А вот тут ты и вовсе дурак, — сказал Малыгин и пошел прочь, велел конюху распрячь коня.

Еще прошлой осенью, когда Полипов вместе с Николаем Инютиным впервые приехал в совхоз, Малыгин спросил:

— Мне, Петр Петрович, известно — сам ты наприсился в наш совхоз. Я не возражаю, но ответь — почему в наш?

— Да я ж тебя сколько знаю?! Мы с тобой сработаемся.

— Я не возражаю... Но, прости, Петр Петрович... удобно тебе будет? Я женат на Полине Сергеевне.

— Этот вопрос возникал в обкоме партии и у нас... — проговорил Николай Инютин.

— Возникал, — кивнул Полипов. — И я отвечаю так, как отвечал в обкоме и в райкоме, дословно. Вот что я отвечал: «Малыгин человек порядочный и государственный, а для коммунистов главное — порученное партией дело, а не личные отношения и бытовые противоречия». Так я отвечал... А личные отношения, что ж, нормальные, по-моему. Разве ты почувствовал что-нибудь несправедливое по отношению к тебе, когда я был секретарем райкома?

— Да нет... Ничего, — сказал Малыгин.

— Ну вот! А Полина Сергеевна... Сколько лет-то прошло? Два десятка лет с того дня, как я на фронт ушел, как мы расстались! Целая жизнь, и мы давно чужие.

Да, они были чужими и при встречах лишь здоровались. Только один раз Полипов немного поговорил с бывшей своей женой. Случилось это нынче, в апреле, когда стаял снег, но земля была еще холодна. Полипов ехал в поле, а жена Малыгина возвращалась откуда-то в плетеном коробке и, поравнявшись, как всегда, лишь кивнула головой. Но Полипов натянул вожжи.

— Полина Сергеевна? Можно на минуточку?

Она остановила мерина, он слез с ходка, усталой походкой подошел к ней.

— Еще раз здравствуй? Откуда ты?

— В Шантару ездила. Дочери деньги перевела, она в Москве учится, как ты знаешь... Еще кое-какие свои старушечьи дела сделала.

Да, ей тоже уже подходило под шестьдесят, кожа на лице и на шее у нее одрябла, вокруг глаз — густая сетка морщин. Но глаза глядели на мир, как всегда, весело, не устало.

— Так что тебе? — спросила она, удивляясь, что Полипов угрюмо молчит.

— Видишь вот, как судьба меня под конец... в грязь вмесила? Не удивилась, что я тут... в этой дыре оказался?

Она оглядела его, вздохнула, но ничего не ответила.

— Вспоминаешь... или хоть как-то думаешь обо мне иногда?

— Нет, — ответила она.

— Спасибо за откровенность. — В голосе его была обида. — Все-таки и со мной прожила немало.

— Немало... А вспомнить нечего. Я жить когда начала? Когда Малыгина встретила. Вот и начала жить.

— Физически, что, ли? — усмехнулся он.

В глазах у Полины Сергеевны вздрогнули злые точки.

— И физически — тоже! — проговорила она резко. — Сошлась я с ним сперва от тоски по мужчине. А когда забеременела... От тебя не могла, ты бесплодный. Когда это случилось... и матерью потом стала — мир для меня открылся совсем другой. И Малыгин сам открылся... Он — мягкий и славный человек.

— Ну да... А я — бяка, — сказал он, глядя в землю, переступил с ноги на ногу. — Детей пугают этим самым.

— Ты? — насмешливо переспросила она. — Ты — хуже... Ну, не делай такие невинные глаза. Ты человек страшный. Никто ведь не знает, какой ты... А я знаю. Одна на всей земле. Лахновский знал, да теперь нет его, конечно, в живых, Елизавета Никандровна, жена Антона Савельева, знала...

Полипов поднял на нее сразу посеревшее, сделавшееся каменным лицо.

— Да, она догадывалась, была уверена, что это ты выдавал охранке ее мужа... Она работала в библиотеке перед смертью... Она и работать стала там, чтоб заставить меня признаться... чтоб я подтвердила, что это ты его выдавал... И я подтвердила!

— Ты-ы?! — простонал он, шагнув ближе, схватил дрожащими руками вожжи, будто намереваясь вырвать их у нее.

— Убери руки! — строго произнесла она. — Чего испугался? Да, я в горячке ей это в лицо бросила... подтвердила все! Но она этого не перенесла, тут же и скончалась... Так что, выходи, я виновата в ее смерти.

Полипов сделал шаг назад, опять поглядел на грязную, не просохшую еще дорогу.

— И сильно каешься в том? — спросил он теперь негромко.

— Вроде бы я виновна... А на самом-то деле — ты, ты! — воскликнула она вместо ответа на его вопрос. — И в ее смерти — ты виновен!

Крик ее, взлетев под холодное небо, где-то там замолк, потерялся.

— Не кричи, пожалуйста, — попросил он, уже окончательно успокоенный. — Не будем уточнять меру вины друг друга... скажем, за Кошкина там, за Баулина, Засухина. Ты все подталкивала меня, чтоб посадить их...

Бывшая жена Полипова слушала, презри-

тельно изогнув высохшие губы. И когда он умолк, разомкнула их:

— Вот что, милый... Моя доля вины пусть со мной и останется. А свою ты возьми уж себе. Моя совесть пусть меня и мучает. А твоя пусть с тобой живет! — Она подобрала вожжи, но прежде чем тронуть лошадь, добавила с усмешкой: — Хотя что я говорю! Тебе ж неведомо, что это за штука — совесть. Вот у камня ее нет, у бревна нет. И у тебя так же... Несчастный!

Вот еще почему вспыхнул как порох Петр Петрович Полипов, когда Василий напомнил ему слова отца своего о совести. Он топтался на пожухлой траве, не вынимая рук из карманов. Он держал их там, как палки, оттягивая карманы пиджака вниз, едва не продирая их.

— Да, да, мальчишка! Ты с какого года в партии?

— С пятьдесят второго, — ответил Василий Кружилин. — Но что это меняет?

— А я... со времен организации РСДРП! С тех времен, когда только возникла в подполье Российская социал-демократическая рабочая партия. Во времена первой русской революции я уже в царских тюрьмах сидел. Тебя еще на свете не было, а я уже по тюрьмам насиделся! И потом... все время в борьбе, все время в огне! Как порох-то пахнет — ты разве только в газетных полосах нюхал. А я пол-Отечественной... с сорок третьего на фронте! Ранение имею. Две награды боевые! Немного, но я их заслужил. А сколько я товарищей боевых потерял!

Да, ранение Петр Петрович Полипов имел — это он сказал правду. Правду он сказал и про награды, и про потерю боевых товарищей... Не сказал лишь и никогда не скажет, как он там, на фронте, встретился и распрощался с Лахновским Арнольдом Михайловичем, тоже товарищем своим по давним делам. Тогда, в июле сорок третьего, кривоплечий Алексей Валентик обратно перевел его за линию фронта, на советскую сторону, сказал на прощание: «Весь фронт в движении, ступай, дурак, в какую-нибудь часть, позвони оттуда в свою редакцию: жив, мол, материал собираю для статьи, скоро вернусь... С каким бы удовольствием я тебя прилепнул, идиота, да Лахновский, старый пень, не велел». Полипов так и сделал, на другой день объявился в редакции как ни в чем не бывало... Не сказал обо всем этом Петр Петрович Полипов, а Василий Кружилин этого, естественно, не знал. И никто другой не знал. И, будучи в том уверен, во весь голос кричал Полипов!

— Так какое ты имеешь право говорить о моей совести? Этого я и отцу твоему никогда

не прощу, а тебе... проведем всю войну в плену...

Василий побледнел, медленно поднялся, стоял и ждал с улыбочкой. «Что за дьявольщина, — мелькнуло у Василия. — Неужели это он на провокацию вызывает? Не хватало еще...»

По скулам у него прокатились желваки. Но он взял себя в руки, спокойно сказал:

— Что же, пороку столько, сколько ты, я, может, и не нюхал. Но я другого нанюхался... Фашистских плетей, фашистской неволи. И потому-то я чувствую... как и чем земля родимая пахнет, этот ветер, это небо! Тебе этих запахов, кажется, никогда не почувствовать... хоть ты и в царских тюрьмах сидел. Так что... не очень ловко в наступление ты перешел.

— В какое еще наступление?

— Ну... не прикидывайся. На вопросы мои сам напросился. А отвечать, видно, не готов еще.

Полипов нагнулся, поднял свой запыленный велосипед.

— Просто пропало желание отвечать. — Полипов поставил одну ногу на педаль велосипеда, собираясь вскочить в седло, и добавил насмешливо: — Но чего тебе-то так уж сожалеть об этом? Тебе важно ведь, чтоб я самому себе ответил.

— Конечно, это важнее, — согласился Кружилин. — Да, видно, не скоро это произойдет...

— Тебе откуда знать, скоро или не скоро? — почему-то заинтересованно спросил Полипов и даже снял с велосипедной педали ногу.

Кружилин поднял плащ, перебросил его через руку.

— А отсюда... Сперва мне показалось, что совесть у тебя...

— Опять о моей совести?!

— А ты помолчи! — воскликнул Кружилин. — Да, показалось, что она у тебя шевелиться начала. Но я, кажется, ошибся.

Полипов, будто выполняя приказ Кружилина, теперь стоял и молчал.

— Ты, Петр Петрович, одного не можешь понять. Или не хочешь... Верх окончательно берут такие, как Иван Савельев, как Малыгин. Они тебя вытеснили отовсюду... Вот почему ты не в состоянии ответить на мои вопросы. А если и в состоянии, но уходишь от них сознательно, то еще хуже.

Кружилин ожидал, что Полипов будет возражать, оправдываться. Но тот только спросил с холодной отчужденностью:

— А ты бы уж заодно и объяснил — не в состоянии или сознательно, раз... раз этакий у тебя... талант психолога.

— Этого объяснить пока не могу.

Стоя друг против друга, каждый теперь понимал, что лучше бы им скорей разойтись. Од-

нако Кружилина задерживало любопытство: чем же кончится эта их случайная встреча?

Медлил и Полипов. Он отвернул глаза в сторону и потирал ладонью никелированный руль своего велосипеда. Потом решительно встряхнул машину, словно дернул лошадь за удила.

«Все равно не уедет, — подумал Кружилин. — Он все-таки понимает, что это будет похоже на бегство, на позорное отступление. Не уйдет, не попытавшись как-то взять верх. Но интересно, как?»

Кружилин решил ждать до конца и даже положил обратно на чемоданчик плащ, полез за папиросами.

Полипов отлично понял все мысли Кружилина. Понял и даже смерил его глазами с головы до ног с откровенно-нисходительным превосходством.

Однако и Кружилин понял, что этот взгляд бывшего секретаря райкома на сей раз какой-то искусственный, показной.

— Значит, думаешь, что прижал меня в угол? — тихо спросил Полипов. Василий только пожал плечами. — И ждешь, как я из него... из этого положения выйду?

— Ну что ж... Это тоже интересно.

— Да... Но только мне выходить ниоткуда не надо. И куда ты меня не загнал. Конечно, в последние годы судьба меня не балует, в этом ты прав. Пришлось... работу в райкоме, а потом и в совхозе «Степной» оставить...

— Осторожные, однако, формулировочки. Жалеешь, что ли, себя? А когда-то не выбирал выражений. Некогда, мол, выбирать, которые помягче, дело делаем...

— А ты не перебивай! — повысил голос Полипов. — Я твои вопросы выслушивал спокойно.

— Хорошо, — коротко сказал Кружилин.

— Ну вот... Только рано вы собрались хоронить Полипова. Жив еще Полипов! А формулировки... Я и сам понимаю — наломал дров порядочно, как уж тут ни формулируй. Партия поправит...

— Сколько же можно поправлять тебя? — не выдержал все-таки Кружилин.

— Во-он ты каков, оказывается! — уже сквозь зубы выдавил Полипов. — А ведь мы терпеливее относились к вам.

— Погоди, погоди... Кто это — мы? И кому это — к вам?

— Ишь ты, как за эти слова хватаешься. К тебе вот, в частности. А мы — это старшее поколение.

Кружилин снова взял свой плащ.

— Ладно, Петр Петрович. Кончим бесполезный разговор.

— Действительно, — согласился Полипов. — Только, повторяю, не торопитесь сбрасывать со счетов нас. Как бы ни работали, ка-

кие бы перегибы ни допускали, мы свято верили в дело партии, в дело...

— Слушай, Полипов, ты это всерьез проводишь разделение на «вас» и «нас»? — перебил его Кружилин и поглядел ему прямо в глаза.

— Какое... разделение?! — вспыхнул Полипов. И по тому, что вспыхнул, Кружилин понял: на этот раз Полипов чуть растерялся. — Не хватайся, говорю, за слова.

— А нет разве? И, коль уж делишь, то позволь спросить: вы, старшее поколение, верили в дело партии, а мы, пришедшие вам на смену, по-твоему, не верим?

— О-хо-хо, — вздохнул Полипов. — Вон какие далекие выводы, оказывается, можно сделать, зацепившись за одно слово. Вон как можно повернуть. Но, во-первых, никакого разделения я не провожу. Во-вторых, я просто хотел сказать, что мы, совершившие в семнадцатом году революцию, воздвигли еще Днепротэс и Магнитку, неплохо справились с коллективизацией, с индустриализацией, построили, черт возьми, социализм. Ты что же, отрицать это будешь?

— Нет.

— Я считаю, что в этом есть доля и моего труда. Будешь отрицать?

— Нет.

— Вот так-то! А если так, почему же мы бросовые люди?

— Я тебе этого не говорил.

Полипов тупо уставился на Василия Кружилина, долго на него глядел, почти не мигая. Видимо, он и сам уже засомневался, говорил или не говорил Кружилин такие слова.

— Это ты сам придумал, — усмехнулся Василий. — И вот почему придумал, мне это понятно стало наконец. Не-ет, ты, оказывается, кое-что понимаешь. Ты чувствуешь, что новые времена наступили, что ты и тебе подобные полностью себя...

— А в самом деле, прекратим-ка мы этот спор, — не дал ему договорить Полипов и поглядел на часы. — Того и гляди опоздаю.

— Куда торопишься так?

— В райцентр. Насчет того, что я из района хочу вон, это в горячке вырвалось. Годы и годы здесь прожил, сроднился. Живое-то рвать как?! Хочу самостоятельную работу попросить.

Кружилин двинул бровями.

— И что-нибудь дадут, я думаю. Попрошусь, скажем, в «Красный партизан», на место твоего отца. Он собирается на отдых. А у меня еще есть порох. И, если доверят, — докажу, что кое на что способен еще... Ну, прощай.

И Полипов быстро вывел велосипед на середину дороги.

— Постой, постой, ты это серьезно? — опомнившись, проговорил Кружилин.

— Почему же нет?

— Но ведь... ты за один год колхоз угробишь. Ты сразу же чистые пары ликвидируешь.

— Нет, зачем же... Я понимаю: на парях все хозяйство «Красного партизана» держится. Пусть уж мои парторги выговора получают, а я буду только голову нагибать, как бык. Как отец твой. Как Савельев или Малыгин тот же.

— Та-ак! — воскликнул Василий и со злостью схватил с земли ни в чем не повинный чемоданчик. — Ничего ты, Полипов, не понял, оказывается, за эти годы... с тех пор, как тебе пришлось, по твоему выражению, работу в райкоме партии, а потом и в совхозе «Степной» оставить.

— Ишь ты! Твои слова, я сказал бы, тоже несколько ядовиты, но ведь не поверишь.

— А насчет «Красного партизана»... что ж, езжай, попробуй.

— И попробуем! Если не возражаешь, — насмешливо бросил Полипов. Но улыбка на его лице вдруг начала таять.

Полипов точно впервые заметил в руках у Василия Кружилина плащ, дорожный чемоданчик и смотрел и смотрел на них, не отрываясь.

— Погоди, Кружилин. Это что же?.. — Голос его изменился. — Ты же агроном теперь. Уж не тебя ли в... «Красный партизан»?

— Меня, — сказал Кружилин. — И тоже по просьбе. Правда, я попросился агрономом, а мне предложили председателем.

— А-а... А почему? — промолвил Полипов, не замечая, что вопрос его повис в воздухе беспомощно и глупо.

— Почему мне доверили эту работу, не знаю, — сказал Василий. — А почему я попросился в колхоз... Это я могу тебе объяснить. Только издалека придется. Помнишь, ты распекал меня когда-то за статьи о колхозе «Красный партизан», о его председателе Иване Савельеве, обвинял, что районная газета берет его под защиту, а я занимаюсь каким-то «индивидуальным оппозиционерством»?

Василий помолчал, ожидая ответа. Но Полипов, опустив голову, разглядывал носки запыленных сапог Кружилина.

— Я тогда действительно старался как-то помочь Савельеву и отцу в их борьбе против тебя... А ты не ухмыляйся, Петр Петрович. Именно в их борьбе против тебя! Я понимаю, что помощь эта была мизерная. Но как лучше помочь, я тогда не знал.

— Сейчас, получается, знаешь? — хрипло бросил Полипов.

— Знаю. И — можешь верить, можешь нет — я впервые догадался, какая помощь им больше всего нужна против таких вот, как ты, в тот момент, когда ты читал мне лекцию о домашних демагогах, об умении видеть перспективно. Правда, догадка тогда мелькнула смутно.

Мне показалось, что лучше всего будет встать рядом с такими, как мой отец, как Иван Савельев, в одну упряжку и тянуть, насколько сил хватит... Потом все более прояснялась эта мысль. И я пошел в сельскохозяйственный.

Полипов рассматривал теперь носки своих сапог, точно сравнивая их с кружилинскими. Губы его были крепко сжаты. Василий заметил, что на виске Полипова напряглась и проступила синеватая жилка.

— Ну что ж, — разжал он губы. — Помощь, я думаю, могучая подоспела. И, главное, вовремя.

— Знаешь, Петр Петрович, меня ведь несколько не трогают твои усмешки. Справлюсь ли с колхозом, я еще не знаю. Во всяком случае, буду работать честно.

— Я, что ли, не... — вскинул было голову Полипов, но тут наконец понял, что возражать собирается по привычке, что Василий Кружилин встретит его слова смехом, и только махнул рукой и склонился над велосипедом.

— Прощай, Петр Петрович, — сказал Кружилин.

Полипов не откликнулся, не пошевелился. Вся его согнутая фигура стала жалкой, тоскливой и каким-то странным образом выражала незаслуженную обиду.

Василий Кружилин повернулся и зашагал своей дорогой.

Шагалось ему легко. То ли оттого, что жара немного спала, то ли оттого, что тяжелый, неприятный разговор с Полиповым наконец кончился.

В высоком небе по-прежнему пели жаворонки. «Странно, — подумал Василий, — почему же они не пели во время встречи с Полиповым? Или я, разговаривая с ним, просто не обращал внимания на их звон?»

Василий сделал усилие, чтобы вспомнить — пели жаворонки, пока он сидел на чемоданчике, или нет?

Но вспомнить не мог.

Дорога взбежала на пригорок, и тотчас внизу, в лощине, показались крыши домов и хозяйственных построек «Красного партизана».

Взойдя на этот пригорок, Василий Кружилин оглянулся. Оглянулся просто так, Полипова увидеть он не рассчитывал, думая, что тот уже уехал. Но Полипов, оказывается, сидел на том же месте, где Василий его оставил. Он сидел, поставив локти на колени согнутых ног, обхватив ладонями опущенную к земле голову.

Рядом валялся его велосипед.

В августе, когда зажелтели верхушки берез, когда на уставшую от летнего зноя землю уже падали первые листья, отжившие недолгий

свой век, в новой, недавно отстроенной Шантарской гостинице поселились две женщины — одна пожилая, лет примерно сорока, немного огрузневшая, с неестественно черными, видимо, крашеными волосами, другая совсем юная, хрупкая, с большими, светлыми, радостно удивляющимися всему миру глазами.

Устроившись в номере, приезжие попили чаю в гостиничном буфете, потом до вечера ходили по улицам Шантары, с любопытством рассматривали деревянные и невысокие кирпичные дома, подошли к проходной завода, который дымил высоченными красными трубами.

— Здесь он работал... отец? — спросила девушка.

— Да, Ирочка. Другого завода здесь нет. Он рассказывал, что этот завод был эвакуирован сюда в годы войны.

— А может быть, и сейчас тут работает?

— Может быть...

— Мапочка, я хочу... хоть на одну секундочку увидеть отца.

— Ирочка... Я устала, меня уже ноги не держат, идем в гостиницу. И — как увидишь? И вообще, зачем эта нелепая поездка сюда?

Это были Олька Королева и ее дочь. Дочь ее и Семена Савельева. Но обе они были Алейниковы.

Еще в Тернополе Ольке сделали операцию. Молодой и улыбчивый армейский хирург удачно срезал безобразивший ее рубец на щеке, некоторое время на месте рубца была лишь красноватая полоска, но постепенно краснота исчезла и теперь вдоль щеки, нисколько не портя выражения лица, пролегал лишь неглубокий и почти незаметный шрамик. Волосы на сожженной кислотой голове тоже отросли, на местах бывших проплешин они были, правда, пореже, но Ольга вполне обходилась без парика. Она только поседела, ее волосы стали как снег, и потому она их красила.

Замуж Ольга Константиновна не вышла, хотя находились два или три славных человека, питавших к ней настоящие чувства. Не вышла не потому, что любила только Семена. Нет, она и его никогда по-настоящему не любила. Вернее, не успела полюбить. То, что произошло один-единственный раз между ними, произошло под влиянием пережитых потрясений. Родилась Ирина, и Олька — Ольга Константиновна — об этом не жалела, наоборот, она была за это благодарна Семену. Жизненные пути их так неожиданно, так случайно пересеклись и разошлись навсегда, жив он или сгорел в пламени войны, она не знала... и думала обо всем этом как-то равнодушно.

В Харькове Ирина закончила десятилетку, закончила с золотой медалью, но, всегда упрямая и часто непонятная для матери, дочь поступать в какой-нибудь институт или университет наотрез отказалась, заявив:

— Высшее образование я получу, мама... Я буду инженером по сельхозмашинам. Но буду учиться заочно. А сейчас пойду работать на завод. Ученицей токаря... Буду сперва токарем.

— Боже мой, почему... токарем?!

— Я так хочу.

— Ирочка! Ну хорошо, пусть заочно. Но почему ты хочешь стать инженером по сельхозмашинам? Это же не очень-то подходит женщине.

— Ошибаешься, мама. Великолепно подходит, — ответила упрямая дочь, и Ольга Константиновна Алейникова поняла, что спорить с ней, как всегда, бесполезно.

Ирина теперь училась в институте при заводе, работала токарем, была комсоргом цеха и в прошлом году еще записалась в заводскую секцию альпинистов.

— Ну хотя бы вид спорта могла выбрать для себя какой-нибудь иной! — недовольно сказала мать, помогая ей собираться на первые альпинистские сборы. — Не женское дело по горам лазить.

— А женское дело разведкой в тылу врага заниматься?

— Тогда была война, Ира.

— Сейчас войны нет... Но человек всегда с чем-нибудь воюет. Когда я стою на балконе, у меня голова кружится.

— Тем более я тебя не пущу!

— Мама! Ты же знаешь, я хорошая тебе дочь. Но здесь я не послушаюсь. Я хочу победить этот недостаток в себе и сделаю это. Зачем мне, чтобы голова кружилась?

Такая была она, Ирина, хрупкая светлоглазая девчонка. Она не хотела, чтобы у нее на высоте кружилась голова.

Весь мир она воспринимала удивленно и восторженно, на каждого человека смотрела так, будто хотела спросить — а откуда ты, что с тобой было в прошлом, зачем ты живешь сейчас и не знаешь ли, что с тобой станет в будущем?

Хотела, но не спрашивала, а у матери своей спросила давным-давно, будучи еще школьницей:

— Мама, а кто мой папа? Почему мы живем одни?

Задав эти два вопроса, она поглядела на мать совсем недетскими глазами. Во взгляде ее были и страх, и тоска, и предупреждение какое-то — правду, мол, только скажи, для меня очень важно знать эту правду... И еще в ее глазах было ожидание какой-то радости.

— Ирочка... когда ты станешь немножко взрослей, я тебе все расскажу о твоём папе, — сказала Ольга Константиновна, поняв, что дочь обманывать нельзя, что правда нужна ей как воздух. — Он был хорошим, твой папа.

— Почему — был? Он умер?

— Не знаю, Ирочка. Он был на фронте. Может быть, он погиб, а может быть, жив... Я тебе расскажу о нем все... и о своей жизни.

— Хорошо, мама. Я буду ждать.

Больше дочь ничего не спрашивала в течение многих лет, но Ольга Константиновна чувствовала, что ее обещание рассказать об отце она не забыла и ждала этого.

И в день окончания десятилетки Ольга Константиновна рассказала дочери все, не утаив даже самой маленькой подробности. Объяснила и то, почему она не вышла потом замуж.

Ирина выслушала все молча, затем, отвернувшись к окну, долго стояла неподвижно, глядя на шумную улицу, полную жизни.

— Ты меня... осуждаешь, Ира? — нарушила наконец молчание Ольга Константиновна.

— Нет, мама. — Она обернулась. — Тысячу раз — нет... Сколько же тебе пришлось пережить!

Потом они обе долго плакали, а под конец Ирина сказала:

— Я стала взрослее теперь на целую жизнь!

На том они закончили и никогда к этому больше не возвращались, жили так, будто никакого разговора и не было. А нынешней весной Ирина сказала:

— Я хотела бы, мама, увидеть своего отца. Поедем в эту Шантару.

Ольга Константиновна так и села.

— Ты что?! Зачем мы будем ломать ему и его семье жизнь?

— Я посмотрю на отца... хотя бы издали. Он и не узнает, не почувствует.

— Ира! Да может быть... он там уже и не живет!

— А мы узнаем, где он живет. И туда поедем. Понимаешь, мама... Очень мне это нужно!

Так они оказались в Шантаре.

На другой день Ольга Константиновна проснулась и увидела, что кровать дочери пуста. Она не очень обеспокоилась, подумав, что Ирина вышла, видимо, погулять перед завтраком. Утро было ясным и веселым, окна гостиничного номера проламывали полосы солнечного света.

Прошло несколько минут — дочь не возвращалась. Ольга Константиновна умылась, привела себя в порядок. Дочери все не было.

Ирина появилась через час. И прямо с порога проговорила:

— Мама! Я все узнала. Отец погиб.

Ольга Константиновна, вставшая при появлении дочери, медленно опустилась на кровать.

— Я это чувствовала, — произнесла она негромко. — От кого ты это узнала? Как?

— А я просто в райком партии зашла и спросила.

— Сумасшедшая!

— Здесь живет его жена Наталья Александровна и дочь Елена. Моя сестра.

— Нет, ты положительно сошла с ума! — воскликнула Ольга Константиновна. — И что... как ты о них... расспрашивала? Что говорила?

— Да успокойся, мама. Я же не сказала, что я дочь Семена Саведьева. Я представилась своей фамилией. А там, в райкоме, симпатичный такой дядечка со мной говорил по имени Николай Кириянович Инютин. Простите, говорит, какая Алейникова? Дочь Якова Николаевича Алейникова, что ли? Нет, говорю, это моя мама его дочь. Приемная. А я — ее дочь. А сам Яков Николаевич погиб в сорок четвертом на Буковине. Инютин этот долго не мог ничего понять... Он и сказал, что отец мой погиб. Кажется, в Норвегии, говорит.

— Как в Норвегии? — вскричала Ольга Константиновна. — Почему в Норвегии?

— Ах, мама, ну разве я знаю? Но это все мне и нужно узнать... Больше того, я говорила с его женой по телефону. И пригласила ее... и дочь ее к нам в номер.

— Ирина! — простонала мучительно Ольга Константиновна. — Ты же... ты же обещала только посмотреть издали.

— Да, на отца... Но его нет в живых.

— Что же теперь будет?!

Ирина решительно шагнула к матери, положила ей на плечи ладони.

— Ну что будет! Ничего не будет... Я ей просто сказала, что ты жила тогда в прифронтной полосе в этой деревне Лукашевке и случайно познакомилась с ее мужем на рытье окопов... Как оно и было на самом деле. И что поэту можешь рассказать кое-что о том времени... и о Семене Федоровиче. Она хотела немедленно бежать к тебе. Но я попросила прийти вечером. Чтобы нам с тобой немного подготовиться... Все будет хорошо, мама, откуда они могут догадаться? Я сказала, что приехали мы сюда просто поглядеть... где жил твой приемный отец, Яков Николаевич. Я соврала, что ты была замужем, а муж умер. Я же умная, мама, ты видишь, я все предусмотрела.

Ирина сняла руки с плеч матери, прошлась по номеру, задумчиво глядя себе под ноги, трянула короткой стрижкой.

— И, кажется, мать его, моего отца, будет. И брат. Инютин этот сказал, что надо матери Семена Федоровича, и брату его о нашем приезде сообщить... Она живет, как я поняла, где-то в колхозе.

— О-о! И мать?

— А брат у него — поэт, сказал Инютин, и я, кажется, даже читала где-то его стихи. Только мне и в голову не пришло; мало ли Савельевых на земле.

— Ну, а если... а если ты похожа на его дочь... на свою сестру? — совсем потеряв го-

лос, проговорила Ольга Константиновна. — Что тогда будет? Ты подумала?

— Что ты, мама? Я на тебя похожа, — сказала Ирина. — И вот что, мама. Ты ж страшная у меня разведчица. В таких была переплетях, а тут... Возьми себя в руки!

В руки себя Ольга Константиновна взяла, но весь этот день, а особенно вечер, был для нее нелегким.

Во-первых, встреча с женой и дочерью Семена состоялась не в гостинице, а в их квартире.

Когда наступил условленный час, в дверь номера раздался негромкий стук, Ольга Константиновна вздрогнула и даже чуть побледнела.

— Мама! — предостерегающе прошептала Ирина.

Жена Семена, войдя, в упор оглядела Ольгу Константиновну. Густые брови ее при этом начали подрагивать, а в черных усталых глазах блеснули слезы.

— Здравствуйте, — сказала она и, так же пристально оглядев Ирину, потянула к глазам платок. — Боже мой, боже мой! Пойдемте, пожалуйста, ко мне и там все расскажите, все-все... Нам ведь дорого, вы понимаете, все... даже самая маленькая подробность о нем.

«Чего она так смотрела на Ирину? — весь недолгий путь до квартиры жены Семена мучилась Ольга Константиновна. — Похожа Ирина на ее дочь или нет?»

Во-вторых, в небольшой двухкомнатной квартирке Натальи Александровны кроме ее дочери Елены, матери Семена Анны Михайловны и его брата Дмитрия, о которых говорила Ирина, находился еще один человек — Иван Силантьевич Савельев.

О нем, о том, что родной дядя Семена — Иван Силантьевич Савельев, который летом сорок третьего ходил вместе с группой Алейникова к немцам в тыл, в Шестоково, и которому Ольга призналась, что беременна от Семена, она перед отъездом в Шантару как-то и не подумала. А он, изношенный временем, с протезом вместо правой руки, с поредевшими и почти совсем седыми волосами, был вот он! Он сидел в углу комнаты в мягком кресле и при появлении их с Ириной быстро поднялся и некоторое время глядел то на нее, то на Ирину. Ольга Константиновна стояла перед ним оцепеневшая.

— Не узнаешь? — спросил он негромко.

— Дядя... Ваня! — прошептала она. — Иван Силантьевич...

— Здравствуй, Ольга.

И оттого, что он назвал ее таким именем, горло у нее перехватило, какая-то сила подтолкнула ее к нему, она сделала два или три

шага и, тяжело зарыдав, упала ему на грудь, все повторяя:

— Дядя... Ваня! — прошептала она. — Иван Силантьевич...

— Ну, ну, Оленька... Чего ты? Будет, не надо, — неумело говорил он вполголоса, одной рукой поддерживая ее. — Вот встретились когда! Нежданно-негаданно. А это... дочка твоя?

— Дядя Ваня?! — умоляюще произнесла она.

— Ну, ну, — успокоил он ее. — Как звать?

— Ира... Ириной.

— Хорошо... Хорошее имя.

Все — Анна Михайловна, Наташа, Дмитрий, Лена — молча смотрели на Ивана и Ольгу Константиновну, слушали их отрывочные слова, но не понимали, конечно, о чем они говорят. Лишь Ирина понимала, она стояла чуть сбоку от своей матери, оглядывала некоторое время находящуюся в комнате, затем решительно шагнула к Лене, протянула ей сразу обе руки, проговорила, чуть волнуясь:

— Здравствуйте... Давайте познакомимся. Меня зовут Ирина.

— Давайте. А меня — Лена, — сказала та.

— Я знаю... Мне сегодня в райкоме партии товарищ Инютин сказал... И про вас, — Ирина повернулась к Дмитрию. — Он сказал мне, что вы прославленный поэт.

— Это верно, — серьезно проговорил Дмитрий. И, чуть наклонившись к ней, прибавил с той же серьезностью: — Но знаете, в чем я вам признаюсь?

— В чем?

— По секрету только. А вы никому не говорите больше...

Ирина чуть двинула бровью, произнесла ожидающе:

— Ну, ладно...

— Слава-то пришла, а денег нет.

Ирина громко, на всю комнату, расхохоталась, закричала:

— Мама, мама! Ты только послушай, что он говорит!

Она вскрикнула еще и затем, чтобы разрядить обстановку. Ее мать и Иван Силантьевич теперь молчали, а все другие пристально глядели на них, будто ожидая, когда они заговорят снова. И ожидание это было мучительно.

После ее возгласа все будто враз сбросили оцепенение, зашевелились, заговорили. Жена Семена, Наталья Александровна, стала хлопотать у накрытого для ужина стола, а Ольга Константиновна подошла к матери Семена.

— Здравствуйте, Анна Михайловна...

— Здравствуй, дочка, — ответила та, поглядев ей прямо в глаза. Поглядела так, что Ольга Константиновна опять смутилась и невольно произнесла:

— Я так рада...

— Чему? — спросила Анна.

— Семен много рассказывал тогда о вас... и о своей жене.

— Ну, а теперь ты о нем расскажи всем нам. Давайте к столу. Наташенька, рассаживай гостей...

...Потом Ольга Константиновна негромко вспоминала, как она познакомилась с Семеном на рытье окопов неподалеку от станции Лукашевка, под Курском, о встречах и разговорах с ним, добросовестно излагала все подробности, кроме, конечно, одной. Понимая, что Иван Силантьевич тоже рассказывал не раз о том времени, она постоянно обращалась к нему, прося уточнить день или какие-нибудь обстоятельства.

Рассказывая, Ольга Константиновна то и дело поглядывала на свою дочь и на Елену, сидящих рядом. Нет, они совсем не похожи друг на друга. Одна была чуть выше, другая ниже, волосы у Ирины темные, у Елены русые, у дочери Натальи Александровны было круглое лицо, брови густые и разметистые, губы тонкие, очерченные резко, нос с горбинкой, а у ее дочери нос прямой, губы припухлые, брови круто выгнутые, редковатые, а лицо удлиненное. Но глаза! У обеих были глаза одинакового цвета — светло-серые, с голубоватым отливом, как у Семена, их отца! И даже разрез глаз был одинаков, и Ольга Константиновне казалось, что все — и мать Семена, и его жена, и брат Дмитрий, и дядя его Иван, — все смотрят на Лену с Ирой и все давно заметили, что глаза у них одинаковые...

Когда Ольга Константиновна рассказала все, что могла рассказать, когда заканчивали они ужин, к дому подъехала машина, все услышали, как хлопнула дверца. Затем раздался негромкий стук костыля по бетонному полу, за дверью. Наталья Александровна, не дожидаясь звонка, пошла открывать.

— Ну-ка, ну-ка... Очень хочу я поглядеть на приемную дочку Якова Николаевича, — раздалось из коридора. Затем в комнату вошел грузный старик с широким, открытым лбом, изрезанным глубокими морщинами. — Здравствуйте. Кружилин Поликарп Матвеевич, бывший секретарь здешнего райкома партии...

— Здравствуйте, — встала Ольга Константиновна. — Отец часто говорил мне о вас...

— Да, не один год мы с ним вместе поработали, — сказал Кружилин. — И всякое бывало между нами...

— Садитесь, Поликарп Матвеевич. — Наташа пододвинула к столу свободный стул.

— Спасибо, Наташенька... Значит, погиб Яков Николаевич?

— Да, — негромко ответила Ольга Константиновна.

— Мы все так и считали. Иначе бы дал о себе знать, написал бы... Когда и как это случилось?

— Осенью сорок четвертого, на Буковине. Есть там небольшой городок Вижница, а под ним горный хутор Базилин, неподалеку от румынской границы... Там он... там его... — Голос Ольги Константиновны прервался. — Бандеровцы его, украинские националисты, казнили.

За столом установилось мертвое молчание. Оно стояло долго. Все глядели на Ольгу Константиновну, а та, достав из сумочки платок, вытирала глаза.

— Как же это... казнили? — спросил наконец Кружилин.

— Они его, как бревно... пилой на козлах... распилили.

Вскрикнула дико Лена, вскочил, побледнел Иван. Анна и Наташа были неподвижны, лицо каждой из них словно превратилось в камень. У Дмитрия Савельева перекошились брови, затем правая бровь начала мелко подрагивать. Он смотрел на Ольгу Константиновну как-то исподлобья, враждебно, будто именно она была виновна в страшной гибели Алейникова, которого он немного помнил.

— Пилой... — прошептал Кружилин, дряблые серые щеки его порозовели, к ним прихлынула кровь. — Расскажите.

— Не надо! — выдохнула Лена, схватилась за плечо Дмитрия, будто боялась упасть.

— Надо, — хрипло произнес тот. — Это, Лена, всем надо знать... Чтобы знать, за что умирали люди, какой ценой оплачено все, что нам оставлено...

— Правильно, — кивнул Кружилин белой головой. — Рассказывайте.

— Это ужасно! Это ужасно! — произнесла Ольга, всхлипывая.

— Успокойся, мамочка, и расскажи, — ровным голосом сказала Ирина. — Все, что знаешь.

...В конце сентября сорок четвертого, на Северной Буковине, под горным хутором Базилин, приткнувшись у скал неподалеку от перевала Шурден, снова сошлись пути Якова Николаевича Алейникова и бывшего его подчиненного Алексея Валентика...

В первой половине августа сорок третьего, вскоре после освобождения Орла, прифронтовая оперативная группа Алейникова была приказом руководства ликвидирована, сам он был назначен начальником новой специальной группы, полгода почти вылавливал в орловских и брянских лесах скрывавшихся там полицаяв, предателей, замаравших себя сотрудничеством с оккупантами, а также диверсантов, оставленных фашистами в нашем тылу. Засады и погони, перестрелка и самые настоящие бои с применением пулеметов и гранат являлись для Алейникова повседневным и обычным делом,

но ни одна пуля или осколок по-прежнему его не тронули, по-прежнему он был, словно заговоренный.

Там же, в Орле, он удочерил Ольгу, она поселилась в небольшом полуразрушенном при бомбежке домике, во дворе которого росла обгоревшая береза.

Перед этим у них состоялся такой разговор:

— Яков Николаевич! Зачем вам, чтобы я вашей дочерью стала?

— Видишь ли, Оля, — ответил он, помедлив. — Жизнь моя не очень сложилась... Все один я, все один... Была у меня жена, взял я ее с ребенком. Но... мальчик утонул в реке, к несчастью. Я его очень любил. А жена от меня ушла... Жениться снова мне и поздновато будто, да и не хочу. А ты одна, Оля. Вдвоем нам будет хорошо.

— Так никого-никого у вас и нет из родных?

— Родители давно умерли. И единственный брат перед войной скончался во Владивостоке.

— Яков Николаевич, да я же взрослая. Скоро у меня у самой будет ребенок.

— Ка-ак?! — удивился он.

Тогда она все рассказала ему о Семене. Он выслушал ее, ни разу не перебив, и проговорил:

— Значит, и дочь и внук у меня будут сразу! Это же просто здорово!

— Почему внук? Может, внучка...

— Пускай внучка. Ах, Оленька, умница! Умница она или нет — Оля тогда этого не знала и не думала об этом, но, прислушиваясь к зарождающейся в ней жизни, почему-то часто и беспричинно плакала.

С задний Алейников возвращался усталый, пропахший гарью, как береза во дворе, но неизменно веселый и часто говорил:

— Кончится война, Оленька, отыщу я детей своего брата — и заживем! Буду я отцом большого семейства, о чем я всю жизнь мечтал.

В начале сорок четвертого его перевели в Харьков. Там Ольга и родила Ирину. А в конце лета как специалиста по ликвидации антисоветского подполья Алейникова направили со специально сформированной группой в Черновицкую область, где особенно бесчинствовали банды оуновцев.

Начальник Черновицкого Управления государственной безопасности подполковник Решетняк сам встретил его и Ольгу с дочерью на руках. Скрывая удивление, спросил:

— Жена?

— Дочь, — коротко ответил Алейников.

Из вагона вышел неизменный спутник Алейникова во всех его делах Гриша Еременко, взял у Ольги девочку. Алейников пояснил:

— А это мой шофер. Мы давно вместе...

И хотя последняя фраза была не очень понятна, Решетняк переспрашивать ничего не стал.

Через час Яков сидел в его кабинете, и начальник Управления рассказывал:

— С Советской Украиной Северная Буковина воссоединилась за год до войны. Всего за один год жизни при Советской власти многие, в сущности, еще и не разобрались что к чему, а тут почти трехлетняя оккупация. Черновицы освобождены, как вы знаете, лишь в конце марта. Какие благоприятные условия для разгрома всякой антисоветчины! И фашистская разведка этим не могла не воспользоваться, сформировала на территории области несколько банд украинских националистов. Сколько их — мы даже не знаем. Они скрываются в горах и в лесах. Их метод — жестокий, беспощадный террор. «Здесь власть не Советов, а наша, — запугивают они население. — А наша власть — самая жестокая». Любого, кого оуновцы заподозрят в сочувствии Советской власти, они беспощадно уничтожают, творят над ними жестокие изуверства. Если сочтут, что Советской власти сочувствуют большинство жителей какой-нибудь деревни или хутора, — уничтожат целиком поселение, всех поголовно убивают, женщин и девочек предварительно насилуют. И снова скрываются в горах. Особенно отличается банда некоего Кривого... Недавно эти бандиты захватили трех наших чекистов, принудительно жестоко казнили их.

— Все это я знаю, — поморщился Алейников.

— Да, знаете, — сказал Решетняк. — Но я говорю это, Яков Николаевич, затем, чтобы вы почувствовали, что обстановка здесь иная, чем, скажем, в Орле или Харькове, где вы работали. Здесь рядом была граница, оттуда фашисты координировали деятельность всех банд, оттуда бандиты получали деньги, обмундирование и даже продукты питания. А главное — оружие и боеприпасы. И туда же в случае чего бандиты надеются уйти и теперь. Потому и нагледят до беспредельности. Вот...

Решетняк вынул из ящика стола крепкую намыленную бечевку с большим никелированным колечком на конце.

— Что это?

— Бандеровская удавка. Ловко они ею действуют. Накинут — и готов. Вскрикнуть не успеешь. Всем нашим чекистам такие разослал Кривой.

— И как? Бойтесь?

— Лисових бояться — в лес не ходить, говорят у нас, — усмехнулся Решетняк. — Но наглость какая? И тебе пришлют, если узнают, с чем прибыл.

— Что ж, с банды этого Кривого и начнем, — сказал Алейников. — Что это за человек? Есть о нем какие-либо сведения?

— Какие сведения? — Решетняк, бросив удавку на стол, встал и пошел к стоящему в углу сейфу. — Скрывается банда где-то в горах, недалеко от Вижницы. Понарыли там схронов и живут в земле, как лисы. Потому местное население и зовет их — лисови. В банде у него человек около ста. А сам Кривой... Во время оккупации тут в одном из сел Путивльского района была фашистская разведывательно-диверсионная школа. Она называлась «Меструпп-24», готовила диверсантов из местных бандеровцев и всяких уголовников. Последнее время фактически хозяином этой школы и был этот человек по кличке Кривой. Настоящей фамилии его мы не знаем. Но у нас есть его фотография.

Решетняк вынул из сейфа папку, взял из нее фотографию, протянул Алейникову со словами.

— Сам этот человек редко из гор выходит. Осторожный.

У Якова, едва он глянул на фотографию, брови поползли вверх, а шрам на левой щеке задергался.

— Что? Знаком? — спросил Решетняк.

— Та-ак! Вот где обозначился след иуды... — протянул Алейников. — По специальности, сволочь, работал. Одно плечо у него ниже другого, кособокий он, оттого, видимо, и кличка — Кривой. Алексей Валентик это... бывший воронежский чекист. А потом — мой подчиненный.

— Как?! — удивился Решетняк.

Алейников, все подергивая от волнения шрамом, коротко рассказал о Валентике, о том, как упустил его в июле сорок третьего.

— Это — стреляный волк, — закончил он. Пока рассказывал, мысли его уже четко и ясно работали в одном направлении и слова, которые он произносил, этим мыслям не мешали. — Ну что ж, ну что ж... Тем более — с него и начнем. Можете сообщить Валентике, что я сюда прибыл? Не сюда, собственно, а в Вижницу. Туда я сейчас и поеду со своей группой.

— Да это нетрудно. У нас много бойцов добровольных вооруженных групп из местного населения для борьбы с бандитами. Ну, некоторые вступают в эти группы и по заданию бандитов. Всех таких мы знаем. Используем их как надо, до поры...

— Всех знаете?

— Какие вопросы задаешь, Яков Николаевич? Стараемся, во всяком случае, всех узнать. Но, конечно, кто может поручиться. Один из таких в Вижницах и живет. По фамилии Савченко Михась.

— Прекрасно. Сегодня же надо как-то осторожно дать ему знать, кто я и зачем приехал. Специально, мол, Валентика поймать... Узнав о моем прибытии, Валентик неминуемо начнет охотиться за мной. Вот за этой-то охотой и бу-

дут наблюдать прибывшие со мной люди и чекисты из Вижницы. Надо как-то выманить банду из гор и уничтожить, а Валентика по возможности взять живьем. Но как? Ладно, на месте будет виднее. Какими силами местных чекистов я могу располагать?

— Вы что же, хотите сыграть роль подсадной утки? — спросил Решетняк.

— Предложите другой план, — холодно сказал в ответ Алейников. — Или будем до конца войны сидеть и наблюдать, как бандиты расправляются с населением? Да он и после войны тогда отсюда не уберется... Ничего, перехитрим этого лисового.

Когда в бункер, вырытый под скалой в горах, неподалеку от перевала Шурден, явился со стийки, то есть с поста, связной и передал Валентика штафету, или по-другому грипс, — короткую записку, тот наклонился к аккумуляторной лампочке, не спеша прочел донесение. В нем была всего одна фраза: «В Вижницу то ли с Черновцов, то ли с Харькова приехал майор безпеки Алейников Я., чтобы познакомиться проводника с «катушей».

«Катуша» — по-бандеровски — виселица, «проводник» — командир отряда, а «майор безпеки» означало — майор государственной безопасности.

Заросший грязной щетиной, Валентик усмехнулся, почесал под рубахой потную грудь, затем своими голубыми глазами поглядел на связного.

— От кого этот грипс?

— От Савченко Михася.

— А-а, это добрый хлопец, — протянул Валентик, скособочившись сильнее обычного, прошелся задумчиво по подземелью. — Покличь чегового Игната да эсбиста Данильченко.

Связной ушел, а Валентик взял бритву, в блюде развел мыльную пену и, присев к грубо сколоченному столу, начал соскребать со щек многодневную щетину. Когда явились командир взвода Игнат и Данильченко, эсбист, то есть начальник службы безопасности оуновцев, оба рослые и угрюмые, Валентик кивнул на записку:

— Читайте.

Те, прочитав по очереди сообщение, не проронили ни слова.

Кончив бриться, Валентик сполоснул над ведром лицо, обтер его грязным полотенцем.

— Что скажете?

— Та ще скажемо? — промолвил Данильченко. — Михась — человек наш, не брешет.

— Не брешет?! — прохрипел зло Валентик. — Это и я знаю, что не врет. А вот я спрашиваю — этот Савченко не на крючке у них?

— Не должно, — сказал другой оуновец. — Из бедняков, отец его за Советы на фронте погиб. Михась давно у них в добровольной дружине, в «ястребках» этих, в двух или трех облавах участвовал на наших.

— Да, так-то оно так, — спокойно проговорил Валентик. Еще походил по схрону, взял донесение, повертел бумажку, оглядывая ее со всех сторон, будто надеясь отыскать в ней еще что-то. — Ну вот что... Проверить для начала, есть ли у этого майора шрам на левой щеке. Если есть, значит, мой это друг Яша. И желал бы я со своим другом свидеться. А как — это мы обмозгуем. Пьянствовать прекратите начинать! Опухли, сволочи, от пьянства!

— Это есть, — вздохнул взводный, по-оуновски четовой, Игнат. — Горилку добре потребляют люди... Я скажу...

— Завтра с утра кого увижу или дух почувую — на ближайшей смереке вздерну. Всем и передай повеление. Тебе, Данильченко, задание: день и ночь следить за Алейниковым, докладывать мне о каждом его шаге. Если где рот разинет — хотя это вряд ли, — усмехнулся Валентик, — взять живьем! А так не трогать, живой он мне нужен. Докладывай, а там видно будет. Все равно попадетсЯ в силоч, как перепелка.

Михась Савченко, хитроватый парень из Вижницы, был под неослабным наблюдением чекистов с той минуты, как ему через третье лицо сообщили о цели прибытия некоего майора «безпеки» Алейникова из Харькова. Гриша Еременко, которого в Вижнице и окрестностях никто не знал, бесшумно двинулся за ним, когда тот отправился куда-то под вечер из Вижницы, проводил до самой оуновской стийки. Пока он разговаривал с дозорными, Григорий, загаившись, лежал в кустах. Обратного провожать Савченко он не стал, это было уже не к чему, всю ночь он так и пролежал на одном месте, не шелохнувшись. Из отрывочных разговоров дозорных он понял, что стоянка банды была расположена в какой-то горной смерековой, то есть еловой, роще близ горных хуторов Базилин и Менилино.

На другой день после обеда Яков Алейников на трофейном «опеле», за рулем которого сидел тот же Гриша, а на заднем сидении были трое чекистов, открыто приехал сперва в Базилин, а затем в Менилино, прошелся по улицам, пытаясь поговорить с жителями о бандеровцах. Хуторки были маленькими, жители, затравленные оуновцами, отвечали уклончиво. В каждом из селений Яков был недолго, буквально через полчаса со всеми своими спутниками уезжал, а на окраинах каждого хутора в зарослях орешника оставались переодетые в крестьянскую одежду ранее прибывшие туда чекисты.

Тем же вечером в Вижницы поступило от них сообщение — из обоих хуторов, едва Алейников там объявился, в горы отправилось по гонцу, чтобы сообщить Валентике о появлении чекистов, за обоими гонцами удалось проследить до самых оуновских дозоров. Неспешной ходьбы до этих дозоров по горам и лесу от Менилина — час, от Базилина — два с половиной. Ночью в оба хутора приходили люди от Валентика, человек по пять в каждый хутор, к рассвету ушли в горы.

— Очень хорошо, — потер руки Алейников.

В последующие дни он продолжал разъезжать таким же образом по селам и хуторам, расположенным неподалеку от первых двух и так же взятым под наблюдение чекистами заранее. И почти из каждого поселения поступало известие, что оттуда немедленно к бандеровцам отправлялись связные.

Постепенно обрисовалась общая картина. Всю округу Валентик держал в цепких руках, почти в каждом населенном пункте были у него свои люди, но большинство служили ему не из националистических побуждений, а под страхом смерти. Убрать Валентика означало освободить людей от этого страха. Но как убрать? Из поступающей информации было ясно, что сам он нигде не появляется, сидит безвылазно где-то в своем схроне, день и ночь охраняемом дозорами, расставленными по всем горным и лесным тропам. А время шло.

И Алейников решил. Он съездил в Черновицы, доложил в Управлении свой план и получил добро. В помощь его группе, вижницким чекистам и милиции, бойцам добровольной вооруженной группы из местного населения, давно готовым к предстоящей операции, было придано небольшое подразделение из черновицких чекистов.

Олька, жившая с грудным ребенком в Черновицах, в гостинице, ничего не спрашивала у своего приемного отца о его делах. Она догадывалась, какие это дела, и, прощаясь с ним при последнем отъезде в Вижницы, лишь прижалась горячим лицом к его груди и попросила:

— Папа, ты помни о нас и будь осторожен.

— Буду, дочка, — ответил он.

— Если бы не Ирочка, я бы не оставила тебя сейчас ни на минуту одного. Я была бы с тобой.

— Конечно... Ну конечно, ты же у меня такая, Оленька.

И это были последние слова, которые он сказал своей приемной дочери...

Вернувшись в Вижницу, Алейников приказал немедленно и бесшумно, чтобы ни одна живая душа не знала, арестовать Михася Савченко. На первых же минутах допроса тот, смертельно напуганный и сломленный, указал местонахождение бандеровских схронов и по

требованию Алейникова начертил схему местности с обозначением известных ему постов.

— Да это не все. Всех я не знаю, поверьте! — взмолился Савченко.

— Верим, — сказал Алейников. — Да все нам без надобности.

— Только к ним не подберешься... Ну — никак. Там горное ущелье, оно узкое, а у них пулеметы, — проговорил вытирая губы, парень.

— То-то и оно, что пулеметы да гранаты, — вздохнул Алейников.

Силы, которыми он располагал, были явно недостаточны, чтобы справиться с бандой. Поэтому Яков решил применить ту же тактику, что при захвате и разгроме в прошлом году абвергруппы в селе Шестоково, — разбить банду по частям с той лишь разницей, что нападать теперь будет не он, а на него. Он решил с небольшой группой чекистов выехать на хутор Менилино и ждать там нападения, которое, как он понимал, неминуемо последует, ибо Валентик не позволит себе упустить случая захватить или уничтожить его, Алейникова. И, чтобы сделать это наверняка, бросит в Менилино немалое количество своих сил, он оставит достаточно людей и для обороны, в случае чего, схронов. А когда завяжется бой, в хутор должны подоспеть чекисты и бойцы добровольной вооруженной группы, заранее скрытно расположившиеся в окрестностях, и обложить селение со всех сторон, чтобы не выпустить обратно в горы ни одного бандита. Другая группа чекистов и милиционеров должна в это время напасть на лагерь бандеровцев. А затем та группа, которая скорее справится со своей задачей, придет на помощь еще дерущейся...

Таковы были планы и расчеты, и Яков Алейников понимал — как всякие планы и расчеты, они могли и не оправдаться. Но он верил в свою удачу и в свою звезду.

Менилино, хутор домов в тридцать, стоял на берегу горной речушки, с юга поднимался за ним высоченный кряж, густо покрытый орешником да грабом, с севера обтекала его речушка, за ней было место холмистое и тоже глухое, почти непроходимое, заросшие кизилом, из которого местные жители делали длинные ручки своих знаменитых гуцульских топориков, красивых и безобидных на вид, но страшных в деле...

Хутор состоял всего из одной улицы, западный конец ее убежал в сторону Вижницы, а восточный, огибая горный кряж, вел в горы к хутору Базилин.

Алейников и тринадцать человек с ним приехали в Менилино на двух машинах уже вечером, когда и горный кряж, и холмы за речушкой покрылись густой синью, речка весело и торпливо позванивала, стояла над хутором

векового настоя тишина. Здесь немцы не пожгли и не разрушили ни одного дома, но и новых давно тут не ставили, здания все были облупленными, неприветливыми.

Население — старики да женщины, несколько подростков, как и в первый приезд Алейникова, встретило чекистов угрюмо, молчаливо, настороженно поглядывало на них, близко не подходя, спешили скрыться в домах.

— Эй, бабонька, — окликнул Алейников женщину, вышедшую с ведром к речке. — Лисови давно не появлялись тут?

Женщина, не старая еще, остановилась растерянно, поставила свое ведро.

— Ни, — мотнула она головой. А потом кивнула: — Да...

— Что — да? А что — ни? Давно или нет? После того как я приезжал, появлялись?

— Ни...

— Понятно, — усмехнулся он. — Боятся. А может быть, за кордон уползли? В Румынию. Не знаешь, не слыхала?

— Ни...

— Понятно. Где переночевать нам можно? Целый день мотаемся вот, устали.

— А в цей хате, — показала женщина ведром на пустой дом, стоящий в центре хутора.

Алейников и без того знал, что укроются они под видом ночевки в этом доме. Еще в первый приезд он узнал, что дом пустует с ранней весны, тут жили хуторской староста и сын его, полицай. Полицай ушел с немцами, а староста, злобный и бессердечный старик, виновный в смерти многих хуторян, был при подходе нашей армии в эти места связан жителями и выдан властям. Тех, кто это сделал, в живых уже нет, оуновцы, объявившись тут, среди бела дня изрубил их гуцульскими топорами прямо на улице.

Алейников не сомневался — короткий разговор этот с женщиной через час станет известным Валентикю. Поверит или не поверит он, что чекисты, всего тринадцать человек, включая двух шоферов, — давно их пересчитали, конечно, — остались ночевать в хуторе? Или хитрый лисовый заподозрит подвох и засаду? Служба безопасности у него тоже работает, бандеровцы могут обнаружить и затаившихся в холмах за речушкой чекистов. И что же тогда? Осмелятся напасть или нет? И, если осмелятся — какими силами, сколько людей оставят охранять свое логово и сколько бросят сюда? А если нет, как ему, Алейникову, действовать дальше, какие меры предпринять, чтобы ликвидировать банду?

Обо всем этом раздумывал Яков, лежа на лавке, у стены. Дом был крепкий, каменный, обмазанный снаружи цементной штукатуркой, в окна светила ущербная луна, плывущая к верхушке крыжа, тоже видневшегося из окошка. Луна находилась даже чуть ниже горной вершины, и Алейникову казалось — она вот-вот

сейчас врежется в горный массив и, маленькая по сравнению с ним, разобьется, как яйцо об стену...

Глядя на вершину этого буковинского крыжа, Яков вспомнил Звенигору и то, как над гранитными утесами прежде всего синело утрами небо, как потом веером хлестали из-за камней лучи невидимого еще солнца и как, наконец, появлялось оно само, неизменно веселое и горячее, заливая щедрым светом и Шантару, и Громотуху, и все окрестности. Только здесь, на войне, он понял и остро ощутил, что каждое утро над Звенигорой происходило, разыгрывалось необыкновенное волшебство, но тогда и сам он, и жители Шантары, как ему казалось сейчас, этого не понимали и, занимаясь своими повседневными и скучными делами, красоты этой не замечали.

— Все хочу спросить у тебя, Гриша, отчего ты до войны-то не женился? — спросил Алейников у Еременко, молча курившего у противоположной стенки. Он сидел так, чтобы в случае чего пуля из окна не могла его достать, возле него, в углу, стоял ручной пулемет. — Тебе ведь скоро под тридцать.

— А дурень был, — ответил Григорий. — Погулять хотелось на воле. Все думал — успеется.

Он помолчал и промолвил, затирая ногой окурки:

— Вот война, книжек не читаем тут, а ума она прибавляет. Ох, дурно-ой был. Вернусь с войны — сразу жинку подсматрю...

— Да, ты еще успеешь детей вырастить.

В этой комнате находились еще два чекиста — лейтенант Стрижов и старшина Митяев, по национальности якут. Им обоим Алейников приказал пока спать. В соседней спало на полу еще трое. А шестеро остальных были вне дома, они вели наблюдение над вроде бы погрузившимся в сон хутором. Один лежал на соломенной крыше дома, за трубой, другой — на крыше стодолы, навеса для хозяйственного инвентаря. Стодола была просторной и длинной, одним концом почти достигала речки. Два дозорных лежали в камнях возле дороги на западной окраине хутора, а двое затаились на восточной, в кизиловых кустарниках. Вроде бы весь небольшой хутор, все подходы к нему были под неослабным глазом чекистов, подобраться незамеченными оуновцы не могли.

Прошло уже часов пять с лишним, как чекисты приехали сюда, времени более чем достаточно, чтобы бандитам подойти к хутору. Но все пока было тихо.

— Есть-то оно есть, время, чтоб детишек вырастить, — проговорил негромко Еременко. — Да особенно и тянуть нельзя. Люди — они растут медленно. Это убить человека — легко и быстро. Раз — и нету. А вырасти ему... Яков Николаевич, а вы бы... взяли меня в зятья?

— Что? — не понял даже Алейников сперва.

— А что?

— Ты... — Яков поднялся. — Это ты... об Ольке?

— У вас одна дочь.

— У ней же ребенок!

— Да? — усмехнулся Григорий. — А я и не знал...

Алейников постоял две-три секунды и, будто теперь только до него дошло, удивленно присвистнул.

— Ты... и с Олькой говорил об этом?

— Нет... С вами вот только насмелился. С вами как-то проще, товарищ майор.

И в это время на дальнем конце стодолы резко щелкнул выстрел.

Звук его еще не замолк, казалось, а Алейников, вскричав «Вот они!» — сорвал со стены автомат, побежал к выходу. Следом за ним с пулеметом ринулся Еременко.

Выскочив, они на мгновение увидели в лунном свете следующую картину: на дальнем конце стодолы, на самом краю крыши, стоял на одном колене чекист и непрерывно стрелял в кучу бегущих от речки людей из пистолета. В него тоже палили из пистолетов и автоматов, но чекист стоял неуязвимым, а потом вдруг торопливо вскочил, вытянулся во весь рост и бревном рухнул вниз, прямо в кучу бегущих людей.

— Сволочи! — прохрипел Алейников, падая на затравенную землю двора рядом с Григорием, который каким-то чудом опередил его и, стоя, как только что погибший чекист, на одном колене, держа пулемет на весу, поливал огнем бегущих к ним бандитов. — Они же вдоль речки незаметно подобрались! Ложись, ты что?

Говоря это, Алейников тоже полоснул из автомата. Бандиты частью попадали на открытом пространстве двора, частью растеклись по черному зеву стодолы. С освещенного луной двора их там не было видно, в темноте навеса они могли подбежать совсем близко. Сообразив это, Алейников крикнул:

— Митяев, Стрижов! Гранаты туда!

За спиной Алейникова в кого-то стреляли спавшие недавно в другой комнате чекисты, потом слышно было, как они побежали через ворота на улицу, а тот, что был на крыше, закричал им:

— Товарищи, и слева, слева бегут! Ложись, я гранатой их...

Что происходило там, за спиной, было уже понятно, но оглянуться некогда — бандиты во дворе поднялись. Гриша Еременко, лежавший теперь за пулеметом, и Алейников снова прижали их огнем к земле.

— Митяев, Стрижов, я что сказал?! — яростно заорал Алейников, которому казалось,

что с момента, когда он приказал забросать темное пространство стодолы гранатами, прошло немало времени. На самом же деле это было всего несколько секунд назад.

Вокруг него и Еременко щелкали пули, долбили, как крупный тяжелый град, землю, вколачивались в нее. Но Алейников не обращал на пули никакого внимания, точно это и в самом деле был лишь безобидный град, сыпавшийся с неба.

Гранатные разрывы под навесом и где-то на улице, за домом, ухнули одновременно. И сквозь их грохот чекист с крыши прокричал:

— Товарищ майор! Они нас окружили! Справа и слева... И от речки еще... много!

Прокричал и захлебнулся, покатился по гладкой соломенной крыше, тяжелым мешком упал на землю.

Алейников и без этого понимал, что они окружены. И понимал, как это произошло. Лаптем Валентика не накроешь, он сообразил, что чекисты возьмут под наблюдение все возможные подходы к хутору, и провел или приказал провести своих людей речкой. Бурливая, она к тому же заглушала все звуки. Одни бандиты выбрались на берег, не доходя до дома, в котором Алейников укрылся со своими людьми, огородами вышли на единственную улицу хутора. Другие ринулись во двор, поравнявшись с домом, остальные миновали его и тоже огородами, спускавшимися к речке, побежали на улицу, когда уже начался бой. И таким образом дом был окружен.

От мысли, что он не учел единственную возможность незаметно подобраться к дому и стремительно окружить его и что этим его единственным просчетом воспользовался Валентик, Алейников в бессильной ярости застонал.

— А что наши-то там, в холмах, ушами хлопают?! — прокричал он, обращаясь будто к Григорию, а в действительности к самому себе. — Как они-то не видели, прошлепали?

— Не з-знаю... Что т-те-перь? — почему-то заикаясь, прохрипел Григорий и заколотил из пулемета, потому что опять с ревом поднялись бандиты. Их было больше, чем прежде. Они метались под огнем Еременко и Алейникова по двору и под навесом, соломенная крыша стодолы занялась, видимо, от гранатных разрывов, разгоралась все ярче, в полутьме навеса мелькнул, перебегая куда-то и стреляя на бегу из автомата, якут Митяев, потом взмахнул обеими руками и упал поперек длинной деревянной колоды.

За спиной, на улице, судя по треску выстрелов справа и слева от дома, чекисты сдерживали нападающих бандеровцев. Сдержат или нет — было неизвестно, а здесь, во дворе, их не сдержать. Это было уже ясно. Бандитов слишком много, а их осталось лишь трое — Алейников, Еременко да Стрижов.

— Отоходим, Григорий! — прохрипел Яков. — Стрижов! Давай на улицу! Еременко, ты слышишь?!

— С-слы-шу, — с трудом выдавил Григорий, оторвав от земли голову. Алейников до этого на него не смотрел, а тут глянул — вся левая сторона лица Григория и плечо были залиты кровью. Кровь струйкой сочилась из раны в голове, чуть повыше виска. В отсвете горящего навеса она казалась густой и черной. — Я с-слышу...

И он уронил голову, ткнулся ею в пожухлую траву, тоже залитую его кровью.

— Григорий! — Алейников, теперь не обращая внимания на залегших совсем неподалеку бандитов, по которым стрелял один лишь Стрижов, схватил Еременко за плечи, приподнял, яростно затряс. — Гриша-а?! Гриша!

Голова его тяжело моталась, глаза были открытыми и мертвыми.

Воспользовавшись этими мгновениями, оуновцы поднялись спова. Яков увидел, как сбoku и чуть впереди от него лейтенант Стрижов, пятясь от наседавших бандеровцев, валит их из автомата. «А кажется, Валентик половину своей банды сюда двинул, дурак, — мелькнуло у Алейникова. И мысль эта была радостной, успокаивающей. — Сейчас все наши подспеют, с секунды на секунду. Конец банде... Слышат же бой. Долго что-то лишь они...»

Это так казалось ему, что бой идет долго. На самом деле с момента нападения бандеровцев едва ли прошло три-четыре минуты.

«Ах, Гриша, Гриша...» — вздохнул он и, теряя самые драгоценные секунды, которые, может быть, и стоили ему жизни, осторожно и не спеша, будто боялся сделать верному своему шоферу и другу больно, положил его на землю. И, пока клал, бандеровцы оказались совсем рядом. Он это видел и понимал. Положив Григория, схватил свой автомат, разгибаясь во весь рост, вкруговую полоснул по бандитам. Они сыпанули от него веером в разные углы. «А-а-а! — закричал он дико, вращая глазами и пятясь к воротам. — За Григория в-вам! Стрижов, на улицу!»

Но Стрижов лежал уже посреди двора лицом вниз, судорожно царапая пальцами землю.

Увидев это, Яков еще яростнее нажал на автоматный спуск. Но оружие молчало. Менять опустевший патронный магазин на свежий не было времени, а рядом с мертвым Григорием лежал его пулемет. Алейников мгновенно кинул автомат себе на шею, нагнулся, схватил ручной пулемет и в это время услышал:

— Це ж Олейник сам! Живьем взять велено?!

— Взя-ять?! — заорал Алейников в бешенстве. — Велено?!

И он вкруговую снова резанул по врагам. Но и пулемет, подергавшись в его руках не-

сколько секунд, умолк — кончился диск и в пулемете. И в ту же секунду словно бревном ударило по ногам. Боли он не почувствовал, но как подрубленный упал на колени. Упал, понимая, что будет сейчас схвачен. Стоя на коленях, он левой мгновенно сбросил с шеи бесполезный теперь автомат, вставить в который запасной рожок по-прежнему не было времени, а правой выхватил пистолет.

— Взять?! Взять?! Взять?! — вскрикивал он, ощеривая зубы, и с каждым вскриком стрелял по бегущим к нему во весь рост бандитам, отчетливым и ясным краем сознания, оставленным будто про запас, безошибочно определял он расстояние до врагов и количество оставшихся в пистолете патронов. Последний — для себя, а остальные надо успеть использовать!

— Успеть, успеть... — отсчитал он еще два выстрела. И, видя, что бандиты совсем рядом, понес пистолет к виску. Но донести не успел, собственную пулю опередила вражеская, в голове у него взорвался огненно-оранжевый снап...

Теряя сознание, Алейников чувствовал и понимал, что ему связывают за спиной руки. Затем его поволокли куда-то по земле. И он понял — на улицу. Там была суматоха и слышались нечастные выстрелы. «Еще как-то держатся мои хлопцы, — мелькнуло у Якова. — Где же остальные-то наши, черти?» И, едва подумал об этом, услышал тревожный вскрик:

— Четово-ой! Из-за речки безпеки прут! Засада-а! И по дороге! С обоих концов!

«Ага!» — подумал Алейников, из последних сил удерживая сознание и стараясь услышать звуки возобновившегося безжалостного боя. И расслышал: во дворе дома и где-то на обоих концах улицы захлопали все чаще выстрелы, стала нарастать волна звуков из автоматных очередей и человеческого рева. Волна эта вроде и не усиливалась, но Яков чувствовал — приближалась. «А раз приближается, значит, усиливается, это просто мозг у меня тухнет, — подумал Яков. — Сейчас отобьют меня, отобьют... если они, сволочи, не пристрелят. Теперь надо мертвым притвориться, пуцай считают, и тогда, может...»

Но притворяться ему было нечего. Сознание у него быстро потухло само собой, лишь в каких-то клетках мозга еще еле теплилось, и эта последняя слабенькая жизненная энергия со смертью и небытием мириться не хотела и даже в этих безысходных обстоятельствах цеплялась за невозможное, работала в одном направлении — нельзя ли теперь обмануть смерть?!

Что ж, человек рожден для жизни, он никогда не хочет умирать...

— Олейника этого — в горы, быстро! Проводник велел — живого или мертвого. Вот ты и ты, волоките его! — осиплым голосом распоряжался кто-то, и двое оуновцев схватили Якова

под мышки и поволокли через огород к заросшей буком и орешником горе.

Но этого Яков Алейников уже не услышал и не почувствовал.

Очнулся он на другой день, лежа возле какого-то забора из прутьев. Открыл глаза, посмотрел в белесое небо, где плавало уже нежаркое солнце. Голова и половина лица его были в засохшей крови. Он увидел горные хребтины, залитые голубым туманом.

Сознание его прояснилось, он вспомнил почти все, что произошло в Менилино. Не мог лишь сообразить, когда это было — вчера, позавчера, неделю назад, и где он — у бандитов или у своих.

Шевельнулся, связанные за спиной онемевшие руки обожгло, будто их сунули в кипяток.

«Понятно», — усмехнулся он про себя.

Алейников лежал на каком-то подворье, возле козел для распиловки бревен. Под навесом стояло несколько оседланных лошадей, а у крыльца — длинный стол, за ним, спиной к нему, сидело человек пять или шесть, пьяно бубнили. Затем один из них обернулся, вылез из-за стола, пошел к Якову.

Подойдя, он наклонился над ним. Лицо было землистым, опухшим, давно не бритым, на распахнутой груди синела зловещая наколка — трезубец, эмблема бандеровцев. Но Алейников посмотрел на нее равнодушно и теперь усмехнулся вслух:

— Понятно...

— Не-ет, друже... Ничего тебе пока не понятно, — блеснул прокуренными зубами оуновец. Обернулся к столу, крикнул: — Проводник! Он очухался.

— Очень хорошо, — донесся от стола спокойный голос. — Привязывайте. И гоните народ на улицу.

Алейников не понял, что это означает — привязывайте. Но что жить ему осталось считанные минуты — это понял. Голос принадлежал Валентуку. Яков этот голос узнал сразу.

Сознание близкой смерти его не испугало. Он только подумал: «Олька, Олька... Зря я взял сюда Гришу, зря...» Но спустя секунду думал уже о другом: «Удался ли до конца его замысел, уничтожили банду или нет?»

Двое бандеровцев, подойдя, молча схватили его за плечи и за ноги. Перебитые пулями ноги почему-то были бесчувственны, и боли в голове он не почувствовал, а связанные за спиной руки снова обдало огнем. Якова, как бревно, положили на козлы лицом вверх и стали прикручивать.

«Понятно, — еще раз усмехнулся он, прикрыв глаза. — Хотят запороть принародно плетями. Забить насмерть. Для устрашения дру-

гих...» И уверейно сделал вывод: «Значит, разбили банду. Уничтожили».

Даже зная о немыслимых изуверствах бандеровцев, он не догадывался, не мог предположить, какая страшная казнь его ждет.

— Здравствуй, Яков Николаевич, — раздавалось над ним.

Алейников открыл глаза. Возле него в потертой гуцульской куртке стоял Валентик, опустив, как всегда, одно плечо ниже другого.

— А-а, ходишь еще по земле, — проговорил Алейников в ответ.

— А ты свое отходил уже.

— Да это мне ясно.

Голос Алейникова был ровен и спокоен, последнюю фразу он произнес так, будто всего-навсего высказал свое мнение по какому-то пустяковому делу. Кривые плечи Валентика пошевелились, и в глазах проступило удивление.

— Страшной смертью умрешь, Яков Николаевич. Мы тебя пилой распилим. Как бревно.

Алейников, привязанный к козлам, лежал неподвижно, не пошевелил даже головой. Он лежал и смотрел вверх, на прозрачное осеннее небо, в котором не было ни одного облачка.

Лишь на бледных от потери крови, похудевших щеках да морщинистом лбу проступила крупная испарина.

— Ну, вспотел все-таки? — насмешливо спросил Валентик.

Яков чуть повернул голову, посмотрел ему прямо в лицо, сказал:

— Конечно, не думал я, что так... придется...

Он закрыл глаза и долго молчал. А Валентик стоял рядом и терпеливо ждал — не скажет ли Алейников еще чего. Но не дождался, заговорил сам, так же насмешливо поначалу.

— Герой ты, чего тут обсуждать. Перехитрил меня. Выманил мой отряд из гор. Собой пожертвовал, а отряд мой перебил... Герой, за это и казним тебя принародно. Чтобы знали, что мы живые и снова соберем армию для освобождения многострадальной Украины от большевизма. И вечно мы и наши идеи будут жить. А ты подохнешь. Мы всех, кто против нас, жестоко уничтожим! Жестоко и безжалостно!

Под конец этой речи голос Валентика налился тяжкой, свинцовой злобой, горло его сдавливало, и слова ему трудно было выталкивать.

Алейников все лежал с закрытыми глазами.

— Но скажу тебе прямо, Алейников, — передохнув и чуть успокоившись, заговорил Валентик. — Могу я тебя и помиловать. Но при одном условии — если ты перейдешь к нам. Жизнь в конце концов у тебя, как у каждого, одна. Так что ты уж решай сам за свою жизнь.

Яков, еще помедлив, разомкнул ресницы, опять долго смотрел вверх, в беспредельное небо.

— Ну? — спросил Валентик. — Раны у тебя пустяковые. А лекари у нас добрые.

— Отряд? Идеи? — пошевелил Алейников сухими губами, взглянул на Валентика. — Банда у тебя была, а не отряд. А ваши идеи...

За забором, на улице, уже слышалась суматоха, голоса, туда сгоняли народ.

— Вы пытаетесь запугать людей. — Алейников еле заметно кивнул в сторону ворот. — С помощью страха и ужаса вдолбить людям хотите свои идеи. И сами понимаете, что это бесполезно, ничего вам не удастся...

— Это твой ответ, значит?

— Один умный человек мне объяснял когда-то, что добро и зло извечно стоят друг против друга. Это — великое противостояние, говорил он. И между светом и тьмой, истиной и несправедливостью, добром и злом идет постоянная борьба — страшная, беспощадная, безжалостная... Не очень как-то тогда и дошли до меня эти слова. Обычная и общая, мол, философия. Но постепенно стал понимать и понял в конце концов — не обычная и не общая... Словно прозрел я и увидел — борьба эта между добром и злом идет постоянно и во всех формах, большей частью скрытых. А с лета сорок первого началось в открытую, врукопашную... Началась война не простая. Не просто очередная война... Не просто одна фашистская Германия воюет с нами. Все мировые силы зла и тьмы решили, что пришел их час, и бросили в бой... обрушили на нас всю свою мощь... И ты, Валентик, — один из зловещих солдат этой злобной и мрачной силы... Но рано или поздно всей вашей силе... всем вам придет конец... Придет конец!

Валентик слушал все это, казалось, с интересом, он то почесывал потную грудь под грязной рубахой, то прекращал свое занятие, глядел на Алейникова, привязанного к козлам, исподлобья, холодно и зловеще, но все равно ожидающе.

— Ну, так... — шевельнул он заросшими жестким волосом губами. — Что ж еще ты понял?

— Что еще? — переспросил Алейников. — Вот еще что... Сложное время было у нас после революции. Нелегко было наладить новую жизнь. И такие, как ты, Валентик, все сделали для того, чтобы такие, как я, ошибались...

Алейников, устав от разговора, вздохнул и опята закрыл глаза.

Валентик стоял неподвижно, будто осмысливая последние слова Алейникова. Затем зябко повел плечами, раздраженно поглядел в сторону забора, за которым усиливались голоса, слышалась ругань и женский плач. Люди знали, на какое зрелище их сгоняют, кто-то из его

подчиненных, конечно, не утерпел, проговорился. Валентик представил, как женщины хватают детишек и прячутся в темные углы, а их там разыскивают, вытаскивают и гонят на площадь посреди хутора. Представил — и скривился, в груди его стала копиться ярость. Но сам чувствовал: ярость эта прибавляется в груди не столько от криков и плача за забором, сколько от последних слов Алейникова.

— Больше ничего не скажешь, Алейников? — выдавил он сквозь зубы. — Торопись, последние минуты живешь.

И услышал в ответ:

— Ошибки были у меня, Валентик. Были. Но больше я не повторил бы их никогда. Не зря говорят: если б заново на свет народиться — знал бы, как состариться.

Яков Алейников думал не о казни. Думал он о своем...

— На другое утро один из тех бандеровцев, что в Менилино были, явился в Черновицы, прямо к Решетняку. Садите, говорит, в тюрьму, я больше не могу... Он и рассказал, как что было там. После и я ездила в Менилино это, со многими говорила, которых на хуторскую площадь согнали в тот день... — изменившимся голосом закончила Ольга Константиновна и умолкла.

Потрясенные ее рассказом, все сидели недвижимо.

— Вот, значит, как погиб Яков Николаевич, — среди мертвого молчания хрипло произнес Кружилин.

И эти слова показались самыми страшными из всех, которые были сегодня произнесены в этом доме.

Елена, дочь Наташи, мучительно застонала и бросилась вон из комнаты. Наталья Александровна повернулась ей вслед, а Ирина встала и сказала:

— Не беспокойтесь. Я сейчас приведу ее.

И, ступая осторожно и бесшумно, пошла к дверям, так же острожно, без стука, прикрыла их за собой.

Дмитрий во время всего рассказа сидел сгорбившись, смотрел в пол. Когда дверь за Ириной прикрылась, он медленно, с трудом разогнулся.

— Жутко и представить... Это уже за пределами человеческого разума.

— Многое, что делается на земле, за пределами... — отозвался Кружилин. — Мы сквозь годы идем, как сквозь плети. Но идем, потому что знаем — куда и во имя чего.

— Сквозь годы, как сквозь плети... — глухо повторил Дмитрий. — Я напишу об этом горькие... и тяжкие, может быть, стихи.

— Пиши. Обязательно. Люди постоянно должны помнить о том, что многое — за пре-

делами. Только не надо, чтобы твои стихи были горькими и тяжкими. Пусть они будут просто тревожными, — сказал Кружилин.

Иван Силантьевич Савельев, окаменело сидевший с краю стола, ничего не сказал.

Ирина и Ольга Константиновна прожили в Шантаре еще недели полторы, побывали они и в Михайловке. Кружилин возил их, как и Зубова, на Огневские ключи, к Звенигоре, показал брод через Громотуху, по которому переходил когда-то его партизанский отряд. Ольга Константиновна была молчаливой и задумчивой, а Ирина слушала рассказы бывшего командира партизанского отряда восторженно.

Последнюю ночь гости ночевали в доме Анны Савельевой. Ольга Константиновна пыталась было отказаться от этого приглашения под предлогом необходимости сборов к отъезду домой, но Ирина решительно сказала:

— Мама, на один день задержимся еще. Я хочу стихи Дмитрия послушать.

Анна со всем радушием угощала их, Дмитрий читал стихи, Ирина громко одобряла их, оба они много разговаривали и смеялись, Ольга Константиновна снова и снова рассказывала о Семене. Но, рассказывая, она постоянно со страхом думала: а что если Анна догадалась, что такая Ирина, для чего они сюда приехали?! И каждую секунду ждала вопроса, который будет катастрофой, ибо, как бы она ни ответила на него, все станет ясно...

Но вопроса такого не последовало.

На другой день гости уезжали. Провожали их на станции все — и Кружилин, и Наташа с Леной, и Анна, и Дмитрий. Из своего совхоза приехал даже Иван Савельев.

— Иван Силантьевич! — будто больше всех обрадовалась ему Ирина. — Спасибо, что вы приехали! И вообще, всем спасибо! Мне это очень... ну просто очень нужно было. Мне теперь будет легче жить.

Эти ее восторженные слова все восприняли с доброй улыбкой, и Наташа улыбнулась, и Анна.

Потом Ирина, высунувшись из окна, махала всем до тех пор, пока поезд не скрылся за станционными постройками.

— Хорошая какая девчушка, — произнес Иван, когда все шли к оставленным на привокзальной площади подводам. — Не ходит по земле, будто летает над ней.

— Хорошая, — согласилась и Анна. Они с Иваном чуть приотстали от других. Потом Анна вообще остановилась. — Все, что она говорила о Семене, — правда. Я с твоими рассказами сравнивала.

— Ну вот, — кивнул Иван.

Анна сделала несколько шагов и снова приостановилась, поглядела в ту сторону, куда скрылся поезд. И вдруг сказала:

— Только у нее и у Лenoчки... одинаковые глаза.

Иван чуть шевельнул поседевшими, как и волосы, бровями.

— Мало ли людей на земле с одинаковыми глазами?

Анна все смотрела в ту сторону, куда ушел поезд, точно ожидая, что он вернется. Потом произнесла вполголоса:

— Да это-то так...

И они пошли дальше.

Горькие, тяжелые, или тревожные, как рекомендовал Кружилин, стихи у Дмитрия не писались. И никакие не писались, он проводил ночи без сна, сидел за столом, выводил на бумаге строчки, затем рвал листы и обрывки бросал под стол. Брал новый лист, записывал другое четверостишие.

И снова рвал.

На земле стояла сухая и желтая осень, вечера были теплыми, Дмитрий сидел с открытой форточкой, до него доносились звуки постепенно затихающей деревни. Когда умолкало все — и скрип затворяемых где-то ворот, и глухой стук запоздалых дрожек, и последние голоса, — долго еще слышалось далекое треньканье балалайки или звуки гармошки, временами беззаботный девичий смех. Затем умолкали, прекращались и эти звуки, прошедший день со всеми своими делами и заботами, радостями и горестями, отшумев, навсегда проваливался в черную ночь, в небытие, проваливался, казалось Дмитрию, все глубже и глубже. Над всей землей стояла теперь одна черная тишина, и ничего больше, и стоять она, чудилось, будет вечно.

Но вдруг эту тишину, как всегда неожиданно, прорывал петушиный крик. Первому петуху откликнулся другой, третий, десятый. Древний, как сама земля, петушиный перезвон предупреждал людей о приближении рассвета и нового светлого дня.

Запустив пальцы в волосы, Дмитрий Савельев слушал петушиные песни и угрюмо думал: почему это он обязан рассказывать о всех бедах и всех слезах на планете? По какому праву он берет на себя эту обязанность? И отвечал себе: по праву поэта, по праву художника...

Будто без всякой связи с его размышлениями складывались строчки:

...Значит, вновь со мной
На этом свете
Вдовьи слезы
И сиротский плач.
Все — мое...
И бродит по планете

Прошлых лет и будущих
Палач.
Я иду сквозь годы,
Как сквозь плети,
В седине,
Как в пепле и золе...

«Но это все не то, не то, — мучительно думал он. — А если то, не найден пока тот единственно возможный и необходимый для этого стихотворения художественный ряд, тот самый ключ, который повернешь — и войдешь в свой стих, как в свой дом, в свою комнату, где все знакомо и все необходимо. А потом туда будут входить и другие люди, и каждый будет находить для себя нужное и важное».

Но ключа не было, и снова обрывки бумаги летели под стол.

Утром, как всегда, Анна привычно выгребала их оттуда.

Однажды на скомканном обрывке бумаги она прочитала:

...Ты прости...
Что я тебя придумал,
Ты меня, пожалуйста, прости...
Ни весной, ни осенью угрюмой,
Видно, не найти к тебе пути...

Анна вздохнула, разгладила бумажный обрывок и зачем-то положила в карман фартука.

А когда Дмитрий в тот день молчаливо, как всегда, заканчивал завтрак, она, желая как-то облегчить сыну его многолетнюю боль и в то же время боясь причинить еще большую, громко сказала:

— Сынок... А может, ты ее и вправду придумал?

Дмитрий понял, о чем она говорит. Он отвернулся к окну, долго глядел на облитые желтым пламенем березы, росшие вдоль улицы. Он и хотел вроде что-то сказать, но так и не сказал. Вместо этого он резко поднялся и чуть побледнел.

— Что? — тревожно спросила мать.

— Не знаю. Почтальон...

Анна глянула в окно, увидела идущую по двору почтальоншу с сумкой. Сумка, как обычно, висела у нее за спиной, а в руке она держала конверт.

— От Андрюшеньки с Раей, — сказала Анна спокойно и уверенно, потому что больше ни от кого писем не получала. Сказала и вышла навстречу почтальонше. И через какие-то секунды оттуда, из-за дверей, закричала испуганно и торопливо:

— Сыно-ок! Дима!

И тут же, отмахнув дверь, появилась в комнате, растерянная и смятенная.

— Сынок... — И протянула ему конверт. — От нее. Из Винницы...

Анна положила письмо на стол. Затем качнулась к сыну, припала к его груди и зарыдала,

как от неизбежного горя. Дмитрий одной рукой поддерживал мать, другой поглаживал ее по плечу.

Конверт голубым пятном выделялся на столе и резал Дмитрию глаза.

Успокоившись, Анна проговорила:

— Только сейчас, сынок, я поняла твою любовь... Только сейчас вот... до конца. И какой ты сам! Ну, читай.

— Не могу, мама... — проговорил он еле слышно.

— Дурачок... Это хорошее письмо, я материнским чутьем чувствую. Иначе бы зачем она его стала писать? Через столько-то лет?! Зачем?

— Вот потому и страшно.

Они еще помолчали. А потом она сказала:

— Тогда я сама.

Она хотела взять письмо, протянула к нему руку.

— Мама?! — вскричал он умоляюще, опередил ее, схватил конверт. — Не надо...

Конверт жег ему пальцы.

— Не надо, — повторил он, шагнул к вешалке, сорвал пиджак, надел его, письмо положил во внутренний карман, взял свою походную палку, стоявшую в углу, и торопливо вышел из дома.

Небо над землей было распахнуто во всю ширь, теплый осенний день только разгорался. Выйдя на крыльцо, Дмитрий оглядел все небо от края до края и будто впервые изумился его беспредельности. И он ощутил в себе желание идти и идти куда-то в эту беспредельность и нести туда свое необыкновенное чувство...

Пройдя всю улицу до конца, Дмитрий зашагал полем к Звенигоре. Поглядывая на ее острые гранитные утесы, он почему-то подумал, что испокон веку они бороздят пространство над землей. Земля вращается, и они бороздят... И он, Дмитрий, частица этой земли, вращается вместе с ней. И те девчата, что бесечно хохотали прошедшей ночью за околицей. И петухи, возвестившие приближение рассвета, и те малые птахи — соловьи, которые клюют росу, чтобы промыть горло для своих песен... Эти случайно возникшие мысли заставили его остановиться. Он вдруг подумал — как же это он не может дописать то стихотворение о беспредельности жизни и никогда не преходящей человеческой радости?! То стихотворение, которое так нравится Лене, дочери его брата, погибшего во имя всей нынешней жизни? Это же до удивления легко и просто! Как там, на чем обрывается?

Я слышу —
Соловьи росу клюют
И солнце поднимается все выше...

Дальше не рождалось ни одной строчки, ни одного слова.

И теперь Дмитрий без всякого усилия, будто слова и строчки он знал давным-давно и лишь забыл на время, мысленно закончил:

...За сотни верст
Я в это утро слышу:
Опять на взгорье петухи поют.
За сотни верст...
Идут девчата вновь
Встречать зарю, что встанет над деревней.
О, как у них течет по жилам кровь!
Точь-в-точь, как сок по молодым деревьям.
Идет весна!
И, душу веселя,
Зеркальными
Играет лемехами.
И весело
Вращается земля —
С девчатами,
С ручьями,
С петухами!

У Дмитрия были и карандаш и блокнот, но он ничего не стал записывать, зная, что на этот раз сложившиеся в стихи слова никогда не за-

будутся. Он только подумал, с каким-то радостным удивлением отмечая про себя: «Надо же! Осень вот, а я о весне! Хотел написать горькие, тяжелые или тревожные стихи, а получились радостные и веселые!»

Он подумал так, не понимая еще, что причиной этому — пришедшее сегодня письмо. Что в нем? Он боялся об этом думать. Боялся, но верил, что в нем его счастье и смысл всей его дальнейшей жизни. «Я материнским чутьем чувствую...» — то и дело всплывали у него в голове недавние слова матери. А чутье матери не обманывает.

Дмитрий постоял и пошел дальше.

Он шел и шел бесконечными перелесками, шурша сухими опавшими листьями.

Куда шел — он не думал, главное — идти и идти...

От желтых берез было светло на Земле, и она, окрашенная этим светом, летела среди звезд куда-то во тьму, в вечность.

Анатолий Степанович Иванов

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

Р о м а н

Книга вторая

(Окончание)

Редактор *В. Малюгин*

Художественный редактор *С. Гераскевич*. Технический редактор *С. Журбицкая*.
Корректоры *О. Добромыслова* и *М. Поляк*
Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 16/XI 1977 г. Подписано в печать 26/XII 1977 г. А 43391. Бумага газетная. Формат 84×108^{1/16}. 6 печ. л. 10,08 усл. печ. л. 12,534 уч.-изд. л. Тираж 1 611 000 экз. 1-ый завод: 1—500 000 экз. Заказ 1621. Цена 60 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати, ул. Мира, 3.



Кадр из телевизионного фильма
по первой книге романа
Анатолия Иванова „Вечный зов“.

Фото А. Шаховской

